СОЛНЦЕВА М.В.



ФОТОГРАФ ИЗ ДОМА С КОЛОННАМИ

Маргарита Солнцева

Фотограф из дома с колоннами

«Автор»
2026

Солнцева М. В.

Фотограф из дома с колоннами / М. В. Солнцева — «Автор», 2026

Катя, двадцать три года, работает в мастерской, которая чинит семейные архивы: снимает плесень с плёнки, склеивает порванные углы, вытягивает выцветшие лица. К ней попадает коробка фотографий из старого дома с колоннами на улице Радищева — дом идёт под снос, архив продают за бесценок, — и на групповом снимке у автобуса, помеченном на обороте «Песчаногорск, август 1994», Катя узнаёт своего отца. Отец умер, когда ей было шесть; в 1994 он, по документам и по рассказам матери, работал в другом городе и никуда не выезжал. Катя начинает с малого: сверяет даты, ищет автобусный маршрут, разыскивает людей со снимка — водителя, пионервожатую, мальчика с мячом, — и постепенно находит вторую жизнь отца: чужое имя, командировку, которая длилась три года, интернат, где он числился вожатым, и семью, которой он тоже был отцом. Матери она об этом не говорит до последнего: та уже трижды переписала прошлое — с «погиб» на «не вернулся», с «не вернулся» на «просто умер».

© Солнцева М. В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Коробка с улицы Радищева 6
Глава 2. По рейсам помню 12
Глава 3. Пятьдесят рублей 18
Глава 4. Шляпа с полями 24
Глава 5. Ответ на обращение 30
Глава 6. Мужчина в кепке 36
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Маргарита Солнцева
Фотограф из дома с колоннами

Детектив-ретро

Фотограф из дома с колоннами

Солнцева М.В.

Катя реставрирует чужие семейные фото. На снимке 1994 года она узнаёт своего отца — в городе, где его быть не могло.

Главные герои:

Катя — двадцать три года, реставратор, смотрит на людей через лупу и потому видит больше, чем хочет. Вера Петровна Хвостова — старуха из дома с колоннами, у которой снимки увозят на снос. Мать Кати, Галина, — женщина, которая молчит так, что молчание похоже на заботу. Старый водитель автобуса Павел Ильич, помнящий рейсы лучше любых бумаг. Сергей, мальчик с мячом со снимка, выросший в человека, который не хочет говорить о тех событиях, но в итоге делится важной информацией с главной героиней повествования.

Глава 1. Коробка с улицы Радищева

Заказ принесли в картонной коробке из-под бумаги для принтера, и Катя сразу поняла, что коробку эту собирали в спешке.

Фотографии лежали не по годам, а как пришлось: сверху отпуск в Крыму, под ним — школьный выпуск, ещё ниже — похороны, и всё это вперемешку с открытками, квитанциями и мятым конвертом, на котором шариковой ручкой было написано «не выкидывать». Пахло от коробки подвалом: дом на улице Радищева шёл под снос, архив вывезли за один вечер, и продавали его по цене бумаги — чтобы не выносить на помойку.

Катя работала в мастерской третий год и знала правило: сначала каталог, потом чистка. Она разложила снимки по формату, пронумеровала карандашом, проставила даты там, где они были на обороте.

Групповой снимок попался ей в третьей пачке: тридцать с небольшим человек, все в светлых рубашках, все смотрят в одну сторону, за спинами — автобус с квадратным номером, впереди на бровке сидит мальчик с мячом. На обороте синим карандашом, аккуратным, ученическим почерком: «Песчаногорск, август 1994. Отъезд».

Катя увеличила снимок на экране, потому что именно так и делается вся работа: не глазами, а через экран, где видно зерно плёнки.

В третьем ряду, четвёртый слева, стоял её отец.

Она узнала его сразу, как узнают по рукам, а не по лицу: у него была манера держать левое плечо чуть выше правого, и на всех домашних фотографиях он стоял так же. Лицо было мелкое, выцветшее, чуть смазанное, но это было его лицо: тот же узкий подбородок, та же короткая стрижка, те же очки, которые он снимал, когда злился.

Катя сидела перед монитором и не двигалась, наверное, минуту. Потом открыла папку на рабочем столе — личное, не рабочее, — где лежал отсканированный домашний альбом, и нашла август 1994 года. В альбоме было две фотографии: мать с ней на руках у качелей, и отец в цеху, спиной, у станка, с надписью на обороте маминой рукой: «Лето, много работы».

По документам отец в августе 1994 года не выезжал никуда. Это Катя знала точно: она год назад собирала справки для пенсии по потере кормильца и держала в руках его трудовую книжку: август — цех, сентябрь — цех, вплоть до декабря, до больницы.

Она вернулась к групповому снимку и стала считать. Одиннадцать мужчин, восемь женщин, остальные — дети и подростки; на бровке, у самой воды (за людьми была река, должно быть, Песчаногорка), сидел мальчик с мячом и смотрел не в камеру, а на автобус.

Катя сняла очки, протёрла их и сказала себе вслух то, что положено говорить в таких случаях:

— Это не он. Похожий.

Она сказала это и тут же открыла новый файл, назвала его «Песчаногорск-94» и начала писать: номер рейса, номер автобуса, дата, название города, фамилия заказчицы из накладной.

Дом с колоннами шёл под снос через три недели, и это тоже надо было успеть записать.

Хвостова Вера Петровна, семьдесят девять лет, приняла её в кухне — единственной комнате, где ещё стояла мебель.

Дом с колоннами умирал медленно: из больших комнат уже вынесли всё, что можно было вынести, и в них ходил сквозняк, а на стенах остались светлые прямоугольники от фотографий, которые висели там полвека. Катя обошла с ней четыре комнаты, и Вера Петровна про каждую говорила одно и то же: «Тут был папин кабинет», «Тут была гостиная», «Тут мы ужинали». Папа её умер в шестьдесят седьмом, и все вещи в этом доме с тех пор двигали дважды.

— Фотографии я вам продала за копейки, — сказала Вера Петровна. — Не из жадности. Их некуда деть, а выкинуть я не могу, потому что там, на снимках, живут люди, которых больше нет.

— Мне нужен один ваш альбом, — сказала Катя. — Не ваш. Там снимки не с вашей семьёй: автобус, тридцать человек, река, дети. На обороте написано «Песчаногорск, август 1994. Отъезд».

Вера Петровна подумала, и лицо у неё стало хитрее, чем у старухи, которая путается в годах.

— Это Витя снимал, — сказала она. — Муж мой покойный. Он на заводе работал, а снимать любил; у него в отпуск всегда был с собой аппарат. И его от завода отправляли в Песчаногорск: там у профсоюза был лагерь, и туда на всё лето посылали двух-трёх человек с завода — не работать, а помогать: привезти, увезти, гвоздь прибить. Витя ездил три года подряд, вот эти снимки оттуда.

Катя достала из сумки групповой снимок и положила его на клеёнку.

— Кто здесь мужчины? — спросила она.

Вера Петровна принесла очки, оглядела снимок и стала показывать пальцем.

— Вот Витя мой. Это физрук, у него фамилия была Птах, он свистел как судья. Вот шофёр, Павел, он и возил автобус. Вот второй завхоз, кудрявый. А вот этот, — палец остановился, — этот вожатый. Кажется, Юра. Он был первый год, потом в Песчаногорск больше не поехал, потому что у него, я помню, вышло что-то в Москве с работой.

Палец стоял на её отце.

— Он вместе с Витенькой на автобусе ездил, — добавила Вера Петровна. — Детей возить. Мне Витя рассказывал, что смена в тот год тяжёлая была: трое детей таких, что и в милиции стояли, — и этот вожатый с ними разговаривал так, что они на него как на кота смотрели.

Катя сидела очень прямо и держала руки под столом.

— А в каком месяце? — спросила она. — Витя что говорил: в июне, в июле?

— В августе, — сказала Вера Петровна. — В августе смена кончилась, вот автобус и снят. Он в июне уехал, а приехал, кажется, в сентябре, потому что потом надо было лагерь сдавать, а тётки, которые лагерь держали, все разбежались.

— Август, — сказала Катя, как будто это было что-то значит.

— Август. Мы ещё с ним из-за этого ругались: он в отпуске поехал, а вернулся как с работы.

Катя вернулась в мастерскую вечером, включила вакуумный стол и достала из коробки негативы — плотные полоски плёнки в бумажных конвертах, на которых Витя Хвостов химическим карандашом писал месяц и год.

Плёнок было семь. На шести было то же, что на снимках: река, костёр, шеренга, воспитательницы в сарафанах, дети с мячом.

На четвёртой полоске, в конце, где по нумерации должно было стоять «Отъезд», были ещё четыре кадра, которых в коробке не оказалось.

Катя вынула их на свет негатоскопа и увеличивала по одному.

На первом: отец, улыбающийся, в белой рубашке, с кем-то в обнимку; по плечу видно, что рука чужая, широкая.

На втором: женщина в платье с пуговицами, снята в профиль, у неё косынка.

На третьем: отец несёт на плечах девочку лет семи, и девочка смеётся.

На четвёртом: та же девочка стоит у двери вагона, держит в руках маленький чемодан, и лицо у неё снято крупно, во весь кадр, как снимают своих.

Катя смотрела на это лицо долго, потом встала, отперла шкаф, достала свой школьный альбом и открыла на первом классе.

Сходство было не в чертах. Сходство было в том, как девочка на снимке держала подбородок и как — точь-в-точь так же — держала его сама Катя в шесть лет, когда её снимала мама.

Мать жила на другом конце города, в панельной девятиэтажке, и держала в серванте фотографии в рамках — три штуки: свадьба, Катя в первом классе и отец в горах, в 1993-м.

Катя приехала к ней в субботу, к обеду, и ела суп, и полчаса говорила о работе: про плесень, про вакуумный стол, про то, что в этом месяце у неё одиннадцать заказов и все срочные.

Потом сказала:

— Мам, а папа в девяносто четвёртом где был в августе?

Мать не отвечала долго, и это была первая правда за весь обед.

— В Москве, — сказала она. — Он на объекте был, в Москве. У них там сдавали корпус, и он приезжал раз в две недели.

— А точнее?

— Точно я не помню, — сказала мать, — я тогда с тобой сидела, тебе и месяца не было. Он звонил с чужого телефона. Я помню только, что в августе он привёз мне платок, и платок был с рынка в Лужниках, и я его потом двадцать лет носила.

Она сказала это ровно, глядя в суп, и Катя узнала эту ровность: так мать говорила всегда, когда ей было что защищать.

Катя достала из папки три отпечатка с четвёртой полоски — женщину в платье с пуговицами, отца в обнимку с кем-то, отца с девочкой на плечах — и положила их на клеёнку, рядом с хлебом.

— Посмотри.

Мать смотрела минуты три, и лицо у неё не менялось, кроме одного места: у рта появилась складочка, какую Катя видала в детстве дважды — когда умерла бабушка и когда отца выписывали после операции.

— Это Песчаногорск, — сказала она. — Там профсоюзный лагерь был. Он туда детей возил вожатым, ещё до тебя, года три.

— В августе девяносто четвёртого?

— В августе девяносто четвёртого, — сказала мать, — он был в Москве. Катя, я тебе говорю, как помню: в августе он был в Москве, и я знаю это потому, что десятого августа я звонила ему на вахту и мне сказали, что он на объекте и будет к семи.

— На вахту чего?

— Общежития.

Она встала, забрала тарелки и пошла к мойке, и Катя смотрела ей в спину и думала, что за одиннадцать лет работы с чужими семейными архивами она выучила одну вещь: люди не врут в деталях. Они называют месяцы, вахты, телефоны, рынки. Врут они только в одном месте — в том, где надо назвать, с кем.

— Мам, а женщина на фото — ты её знаешь?

— Нет, — сказала мать, не оборачиваясь. — И не хочу знать. Отцу было сорок шесть, он умер в пятьдесят два, и он был хороший муж, и я не собираюсь это выяснять на старости лет. Забирай свои фотографии.

Катя положила отпечатки обратно в папку. У двери она обернулась и спросила последнее, то, ради чего приехала, и спросила, как можно небрежнее:

— А как его звали на работе? Не по фамилии, а так, как звали.

Мать выключила воду.

— Юра, — сказала она. — Витя-шофёр его звал Юрой. А в бригаде звали Юркой. Фамилию он не любил.

Вера Петровна назвала вожатого Юрой.

Катя вышла на улицу и села в машину, не заводя её: она достала телефон, нашла в накладной номер заказчицы, вспомнила, что коробка пришла с улицы Радищева, и подумала, что в

этом городе на Радищеве стояла типография, в которой печатали путёвки, программки и всё остальное, чего в архивах не хранят. Она записала в блокнот: «Радищева. Путёвки лагерей. 1994». И ниже приписала вторую строку, от которой у неё стала холодной ладонь: «Спросить у Вити-шофёра — когда он вернулся».

На Радищева Катя поехала в среду и провела там четыре часа.

Путёвки в лагерь в девяносто четвёртом выдавал не лагерь, а завод: профсоюз печатал их в типографии на Радищева, а копии корешков оставались в заводском архиве, потому что бухгалтерия по ним считала, сколько детей завод кормил летом. Архив завода лежал в подвале бывшего заводоуправления, и попасть туда было просто: женщина в окошке спросила, зачем, Катя сказала «для семейного архива», и женщина сказала «ну идите».

Корешки лежали в картонных коробках, по годам. Август девяносто четвёртого — это была тонкая пачка: смена заканчивалась, детей вывозили, и корешки последних четырёх дней оторваны, потому что их приложили к отчёту.

Катя села на табурет и стала переписывать.

Она искала не детей. Она искала одного взрослого: вожатого, которого в семье звали Юрой, а на работе — по фамилии, которую он не любил.

Он был в списке.

Третьим сверху, ровным типографским шрифтом: «Отряд No 3 (старший). Воспитатель: Черкасов Ю. П.». Четыре недели, смены с 26 июня по 18 августа, подпись завхоза и оттиск печати.

Катя смотрела на фамилию, и в ней поднималось то самое чувство, которое она хорошо знала по работе: когда видишь, что документ не совпадает с фотографией, и понимаешь, что врёт не бумага, а люди, которые держали её в руках.

Черкасов.

Она достала телефон, открыла накладную и посмотрела графу «заказчик». Там стояло: «Хвостова В. П., ул. Садовая, 12». Всё правильно, всё сходится: коробку сдали Хвостовы, потому что Вера Петровна разбирала дом.

А в четвёртом кадре была женщина в платье с пуговицами.

Катя листала корешки дальше, до отчёта, и в отчёте нашла то, чего не искала.

К отчёту была приложена ведомость на питание — простая таблица: фамилии детей и отметки, кто сколько дней провёл в лагере. Тридцать четыре строки. И в трёх строках против фамилий стояли карандашные пометки: «снят с питания», «вывезен», «переведён в изолятор».

Первый был мальчик, который разбил стекло. Второй — мальчик, который ушёл в посёлок и не вернулся ночевать. Третья — девочка, которую вывезли на шесть дней раньше срока, и в графе «кем вывезен» стояла чужая фамилия, не из лагеря.

Катя переписала три строки в блокнот и впервые заметила, что фамилии у детей в этой ведомости стоят не в том порядке, в каком их печатали: три нижние строки дописаны от руки, чернилами, и почерк у них разный — у каждой по-своему.

Она вернулась к корешкам и нашла ту, что была вывезена на шесть дней раньше остальных.

В графе «кем вывезен» стояло одно слово: «мать».

А рядом, в скобках, приписанное тем же почерком, шло её имя: Черкасова А. И., двадцать три года, без места работы.

В ЗАГСе Катя просидела сорок минут — не для того, чтобы узнать про смерть, а для того, чтобы понять, кто кому кем приходится, и это была самая скучная и самая необходимая часть работы: люди врут в рассказах, но в книгах записей они не врут почти никогда, потому что не знают, кто и когда в них посмотрит.

В августе девяносто четвёртого у Юрия Петровича Черкасова родилась дочь. Записана она была на фамилию матери, потому что отец к тому времени уже лежал в областной больнице, и в ЗАГС вместо него ходила бабушка.

Девочку записали Катей.

Записей по фамилии Черкасов в областном ЗАГСе оказалось две. Вторую подняли из другой книги, за восемьдесят седьмой год, и она была короткая: «Черкасова Катерина Викторовна, родилась двенадцатого января. Город Песчаногорск. Мать — Черкасова А. И. Отец — по заявлению матери не записан».

Катя сидела в коридоре ЗАГСа, держала в руках свой блокнот и своё свидетельство о рождении, и смотрела на две записи, между которыми была разница в семь лет и одна общая буква.

Вера Петровна открыла ей дверь так, как открывают своим: не спрашивая, кто пришёл, и не удивляясь, что пришли второй раз.

В доме с колоннами стало ещё пустее: из гостиной вынесли буфет, и на его месте остался светлый четырёхугольник на обоях, а на кухне пахло не едой, а обоями и старым клеем.

— Вы пришли сказать, что отца моего снимали в Песчаногорске, — сказала Вера Петровна, усаживаясь. — Я это и без вас знаю. Я вам другое скажу: не снимал он там почти ничего. Он ездил туда три года, аппарат с собой брал, плёнку экономил, потому что плёнка была дорогая. И все его снимки — это шеренга, костёр и река. Тридцать человек, а лиц не видно.

— Мне ещё про женщину в платье с пуговицами, — сказала Катя. — Она на одном кадре в профиль, в косынке.

Вера Петровна посмотрела на неё довольно долго, и по лицу её было видно, что она решает не что сказать, а стоит ли вообще что-то говорить человеку, который и без неё докопается.

— Витя мне про неё рассказывал раз в жизни, — сказала она. — В восемьдесят девятом, осенью, и он был тогда пьяный, а он пить почти не умел, поэтому я и запомнила. Она приехала в лагерь не на смену, а на один день, и привезла девочку. Девочку в лагерь не брали: там были путёвки завода, а она была не заводская. И Юра, вожатый, её взял, потому что они, кажется, друг друга знали.

— Кто она была?

— Не знаю, — сказала Вера Петровна. — Витя говорил — «дама». Это значит, что она была не из тех, кто работает. И он говорил, что она уехала в тот же день, а девочку оставила.

Катя сидела очень тихо. В доме было слышно, как за стеной, на пустой кухне, капает вода из крана, который никто не починил и который теперь уже незачем починять.

— А дальше было вот что, — сказала Вера Петровна. — В августе, когда детей сдавали, девочку эту сняли с питания и увезли раньше срока. Витька вернулся из лагеря злой, как я его не видела. У него оставались четыре кадра, которые он не отдал в альбом: он их держал отдельно, в конверте, и я их видела — на трёх он с мужиками, а на четвёртом эта девочка у двери вагона, с чемоданом.

— Почему он их не отдал?

— Потому что просили, — сказала Вера Петровна. — Приезжали к нам домой, в девяносто восьмом, летом. Женщина и с ней мужчина, я его не запомнила, только что худой и что очки не снимает. Просили все отдать: и негативы, и отпечатки, и говорили, что это дело закрыто, а мы будем двадцать лет по судам ходить, если не отдадим. Витя отдал фотографии. А конверт с четырьмя кадрами оставил, потому что это уже был принцип: он говорил, что, если ребёнка вывезли раньше срока — значит, её надо хотя бы помнить. Он вообще был такой, Витя: он десять лет хранил снимок чужой свадьбы, потому что жених на нём был счастливый.

— Женщина, которая приезжала, — она как выглядела?

— Молодая, — сказала Вера Петровна. — Лет двадцати пяти, я тогда сказала, что для таких дел она слишком молодая. И некрасивая, а некрасивость у неё была не от природы: она на себя смотрела так, будто на себя рассердилась.

Катя вернулась в мастерскую в темноте, включила только лампу над негатоскопом и достала конверт с четырьмя кадрами.

Три она уже знала наизусть. На четвёртом девочка стояла у двери вагона, держала маленький чемодан и смотрела прямо во Витю, потому что Витя всегда говорил: «Смотри в аппарат».

Катя перевернула полоску.

На обороте, в самом углу, синим карандашом Витя написал: «12.08.94».

А под этим, светлее, тонкой шариковой ручкой, другим почерком — тем самым, которым у них в доме подписывали снимки, потому что он один в семье был с ровным наклоном и с округлыми буквами, — было написано:

«Катя. Забрать 12.08».

Автобазу № 2 Катя нашла по номеру, который был выбит не на автобусе, а в левом нижнем углу корешка путёвки: «АБ-2». Она позвонила туда в четверг, и в диспетчерской ей сказали, что Павел Ильич Гунько на пенсии двенадцатый год, но приходит по вторникам и пятницам, потому что в диспетчерской у него остался шкаф, а в шкафу — путевые листы за все годы, и он их никому не отдаёт.

Он вышел к ней сам, из-за забора, в ватнике без двух пуговиц, небольшой, сухой, с руками в трещинах, и первое, что сказал:

— Фотографии — это к Витьке Хвостову. Он снимал. Я в кадр не становлюсь, я за рулём сижу.

— Витя Хвостов умер, — сказала Катя. — Мне нужен ты.

Павел Ильич посмотрел на неё внимательно и не спросил, зачем. Он такие вопросы слышал, судя по лицу, не в первый раз и давно решил, что отвечать на них проще, чем отказываться.

В диспетчерской было жарко и пахло соляркой. Он выдвинул из шкафа нижний ящик, достал пачку путевых листов, перевязанную суровой ниткой, и положил на стол, но развязывать не стал.

— Спрашивай, — сказал он.

Катя достала групповой снимок и положила рядом с пачкой.

— Песчаногорск, август девяносто четвёртого, — сказала она. — Мне нужен вожатый. Третий слева, второй ряд.

Павел Ильич не стал смотреть на снимок. Он посмотрел на него один раз, коротко, и отвернулся к окну.

— Черкасов, — сказал он. — Юра. Первый год его к нам прислали, до этого другой был. Он у меня в автобусе всегда вперёд садился, чтобы дорогу видеть, у нас тогда дороги не было, а была насыпь.

— Расскажи про август.

Глава 2. По рейсам помню

— Август как август, — сказал Павел Ильич. — Мне бумаги не нужны, я по рейсам помню. Смена закрылась восемнадцатого, а детей повезли двенадцатого: район денег не дал на последнюю неделю, и лагерь сдавали раньше. Я в тот день сделал три рейса. В шесть утра привёз продукты. В одиннадцать повёз на станцию трёх детей — двух девчонок и мальчишку, их сняли с питания, потому что они уезжали. В четыре я поехал второй раз на станцию, уже с вещами отряда и с вожатым.

— И зачем второй раз?

— Затем, что в четыре уходил поезд в область, а поезда в ту сторону ходили через день, и если не в четыре, то потом через день. Мне так и сказали в лагере: подгони к четырём.

Павел Ильич взял со стола ключ и стал вертеть его в пальцах.

— Поезд стоял шесть минут, — сказал он. — Это я тебе точно говорю, потому что я на часы смотрел: после станции у меня был ещё рейс на лагерь, а диспетчер за опоздание снимал. Шесть минут, машинист свистнул, и всё.

— А вожатый?

— А вожатый с поездом не поехал, — сказал Павел Ильич. — Он остался на станции. Я его в зеркало видел: он сел на скамейку, где бабы семечками торгуют, и сидел. Я его окликнул, он рукой махнул. И на базе он мне потом два дня ничего не говорил, а на третий я его ссадил у общежития, и он сказал: «Паша, ты меня не спрашивай». Я и не спрашивал. Мне тридцать два года было, у меня своих хватало.

— Он ещё приезжал в Песчаногорск?

— На другой год не приезжал, — сказал Павел Ильич. — Я его потом в городе встретил, году в девяносто шестом, он сказал, что перевёлся. Он из-за того года и перевёлся, я так понимаю, а может, из-за чего другого. Он вообще в тот август на себя не был похож: крутило его.

Катя записала в блокнот. Она писала не то, что говорил Павел Ильич, а то, что он не говорил: «крутило. остался на станции. перевёлся».

— Мне нужна ещё девочка из первого отряда, — сказала Катя. — Не заводская. Её увезли двенадцатого.

— Не заводских в тот год было двое, — сказал Павел Ильич. — Одна приехала по путёвке районо, её возила воспитательница, я её не помню. А вторую привезла дама — на один день, и оставила. Вот эту я помню: она садилась в автобус на первое место и всегда спрашивала, долго ли ехать. Я ей говорил: долго. Она была довольна.

Катя записала: «первое место. долго ли ехать. довольна».

— И мальчик с мячом, — сказала она. — Он на снимке впереди, на бровке, и он единственный, кто в кадре сидит отдельно.

— Отдельно от чего?

— От всех. На групповых снимках отдельно сидит тот, кто весь день смотрел на остальных со стороны, — сказала Катя. — Такие помнят больше тех, кого построили в шеренгу.

Павел Ильич посмотрел на фотографию ещё раз и на этот раз долго.

— Крайнов, — сказал он. — Серёжка Крайнов, из посёлка, за рекой. Он в тот день тоже с нами ехал, его с питания сняли: он в посёлок ушёл вечером и не вернулся ночевать, а в лагере за это снимают. Я его помню, потому что он единственный в автобусе молчал. Все дети орут, а он молчал, мяч в руках держал и на дорогу смотрел, как я.

— Где его искать?

— В посёлке у него мать, — сказал Павел Ильич. — Он оттуда. Спроси на пароме, там все друг друга знают, паром-то один.

Он поднялся, взял со стола путевые листы и убрал их обратно в шкаф, так и не развязав.

— Ты вот что, — сказал он, стоя спиной. — Ты не спрашивай, кто кого забрал. За август девяносто четвёртого все что-то забрали, и никто ничего не помнит так, как было, потому что помнить так — это потом жить с этим. Спрашивай, кто кому что обещал. У нас тогда все что-то обещали, и все друг друга просили не рассказывать.

Катя вышла за проходную и постояла у забора, пока не замёрзли руки. За забором сгребали снег, и лопаты стучали по бетону, как стучат по бетону лопаты в любом городе в конце зимы, и от этого стука ей на минуту стало легче: город жил себе дальше, а то, что она делала, город не замечал и не собирался замечать.

На пароме ей сказали, что Крайновы жили за рекой, в посёлке, но дом у них сгорел в девяносто девятом, и мать переехала в город к дочери, а сам Серёжка никуда не уехал: он в Песчаногорске, работает на лодочной станции, зимой сторожем.

Лодочная станция была в трёх километрах ниже города, за поворотом, где река расширяется и лёд стоит до конца апреля. Катя поехала туда в воскресенье на первом автобусе и две версты шла пешком по грейдеру, потому что автобус дальше не шёл.

Сергей Крайнов колол лёд у причала: спускал в прорубь пешню и вытаскивал ею обломки досок, которые загнало под лёд по осени. Ему было сорок с небольшим, и по лицу его нельзя было понять, сорок ему или пятьдесят.

— Здравствуйте, — сказала Катя.

— Сторож я, — сказал он. — Контора закрыта.

— Я не в контору. Я про лагерь «Заря», про август девяносто четвёртого.

Пешня осталась стоять в проруби. Сергей Крайнов выпрямился, посмотрел на неё очень спокойно и сказал:

— Нет.

— Я не из милиции и не из газеты, — сказала Катя. — Я реставрирую фотографии. Ваш снимок у меня в руках.

— Всё равно нет.

— Мне не нужно, чтобы вы рассказывали, как было тяжело. Мне нужна девочка, которая в тот год была в лагере не по путёвке. Её звали Катя. Её увезли двенадцатого августа.

Он стоял и молчал, и Катя поняла, что он молчит не потому, что не помнит, а потому, что решает: если он сейчас скажет «нет» третий раз, она уйдёт и он доживёт зиму как доживал. Она достала из папки отпечаток — тот единственный кадр с крупным лицом девочки у двери вагона, — увеличила его заранее, до формата А4, чтобы видно было зерно, — и повернула к нему.

Сергей Крайнов взял отпечаток двумя пальцами, как берут горячее.

— Это она, — сказал он.

— Она?

— Катька. Она ко мне подходила, потому что меня никто не любил и её никто не любил. Она из первого отряда, она приезжая была, не заводская, ей весь лагерь это говорил, и повариха тоже: «Ты у нас гостья». Она не обижалась. Она говорила: «Меня мать привезёт».

Он вернул отпечаток и сел на перевёрнутую лодку, потому что стоять ему, видимо, стало тяжело.

— У меня мяч в руках на фотографии, — сказал он. — Он не мой. Он её. Ей мать привезла его в тот же день, как её привезла, — она приехала на один день, я её видел, она была в белом платье, на платье были большие пуговицы, таких у наших не было. Привезла девочку, оставила и уехала. А девочка в тот же вечер отдала мне мяч и сказала: «Держи, я вернусь». Вот я его и держу.

Катя села рядом с ним на лодку.

— Где он?

— Дома, — сказал Сергей. — Я его не отдам. Вы его не просите, я его вам не отдам, я в интернат его возил, и там сказали, что нельзя, а я всё равно не отдал.

— Вы возили мяч в интернат?

— Я туда два раза ездил, — сказал он. — В девяносто пятом и потом. Мне сказали, что она там, и что ей передать вещи нельзя, потому что я никто. Я мяч передал через сторожа. И больше не ездил.

Он поднял с земли пешню, стукнул ею лёд и стал смотреть в прорубь, как смотрят в воду, когда не хотят смотреть на человека.

— Про тот день я вам скажу одну вещь, — сказал он. — Нас троих везли на станцию, и нас сдавали воспитательнице по списку, а её в список не вписали, потому что она не заводская. Её держал вожатый. Он её водил за руку вдоль вагонов и что-то говорил начальнику поезда, а начальник поезда качал головой. Я это видел, я стоял у второй двери со своим чемоданом. Поезд стоял шесть минут, я это помню, потому что я считал: мне было восемь лет, и я думал, что если поезд уйдёт без неё, то меня тоже оставят.

— И что было дальше?

— Дальше её посадили, — сказал Сергей Крайнов. — Только не туда, куда нас. Нас в один вагон, а её повели дальше по составу. Около того вагона стояла женщина с ребёнком на руках, она поднималась, и ей помогали, и вожатый туда смотрел, а не на неё. У Катьки был маленький чемодан, красный, и она его держала двумя руками, как держат чужое. Я ей махнул, а она не увидела. Поезд пошёл, и всё.

Он сказал это ровно, без всякого усилия, как говорят вещи, которые за двадцать пять лет были сказаны себе сотни раз и потому потеряли голос.

— Я вам больше ничего не расскажу, — сказал он. — Не потому, что не помню. Потому что я после того дня восемнадцать лет в лагерь не смотрел. Мне в посёлке говорили: поезжай вожатым, ты же лагерный. А я не мог.

Катя встала с лодки, отряхнула пальто и задала последний вопрос, тот, за которым приехала:

— В каком интернате она была?

— В Песчаногорске, — сказал Сергей Крайнов. — Больше негде: лагерь наш, район один, и возят всех туда. Он на Первомайской, за рынком, там ещё тополя рядами.

Катя вырвала из блокнота листок, написала на нём телефон и адрес мастерской и положила на перевёрнутую лодку рядом с ним, потому что он в тот момент колол лёд и рук не подавал.

— Если вспомните что-нибудь, — сказала она. — Хоть через год.

Он не ответил ни «да», ни «нет», и Катя ушла по грейдеру к автобусу, и листок остался лежать на лодке, и она была почти уверена, что он его выбросит.

Интернат стоял на Первомайской, за рынком, за тополями в два ряда, и Катя нашла его сразу, потому что Сергей Крайнов назвал примету точнее адреса.

Директора звали Нина Павловна Терехова, и она работала в этом доме двадцать девять лет, из них восемь — директором. Личное дело она велела принести в кабинет, потому что в подсобку, где стоял архив, Катю не пустили: у них в подсобке прорвало трубу в прошлом году, и половину папок сушили на батарее целый месяц, а остальное перевязывали заново.

Дело было в картонной обложке, сшитое и опечатанное, и оно оказалось тонким: воспитанники живут в детском доме годы, а бумаги на них — на сорок листов.

Катя открыла первую страницу.

«Черкасова Катерина Викторовна, 12 января 1987 года рождения, г. Песчаногорск».

Ниже, другим почерком, в графе о родителях: «Мать — Черкасова А. И. Отец — по заявлению матери не записан». И сбоку, на свободном поле, чьей-то рукой давным-давно, торопливо: «привезена из лагеря».

— Это её? — спросила Катя.

— Её, — сказала Нина Павловна. — Вы не спешите, вы читайте по порядку, у нас ребята документы читают за пять минут, как анкету, а в деле всё равно не то написано, что важно.

Катя читала по порядку. Она знала, как читают такие дела: сначала даты, потом подписи, потом то, что осталось на полях.

Акт был короткий, отпечатанный на машинке через копирку, оттого половина букв ушла в синее: «12 августа 1994 года. Мы, нижеподписавшиеся, начальник пионерского лагеря "Заря" Ефимова и старший вожатый Черкасов, составили настоящий акт о том, что воспитанница лагеря Черкасова К. В., не имеющая путёвки районного отдела народного образования, в связи с окончанием смены направлена в детский приёмник г. Песчаногорска». Числа были вписаны от руки чернилами, подписи — поставлены. Внизу, через два дня, стояла входящая печать детского дома: пятнадцатое августа.

— Она у нас с пятнадцатого, — сказала Нина Павловна. — Это я знаю точно: на акте входящая печать стоит, а делопроизводитель у нас была аккуратная, она такие бумаги не теряла. Вы читайте дальше, я вам потом кое-что скажу.

Дальше в деле лежали запросы. В девяносто пятом детский дом писал в райоо о матери: «Черкасова А. И., место жительства — ул. Первомайская, 34; по указанному адресу не проживает с августа 1994 года». В том же году — ответ милиции: «принятыми мерами установить местонахождение не представилось возможным». Катя перечитала эту строку дважды, потому что в ней не было ни одной лишней буквы: казённый язык на то и казённый, чтобы за ним нельзя было угадать живого человека, и это было удобно всем, кроме той, о ком писали.

Потом пошли характеристики. «Замкнутая, в играх участия не принимает, с детьми отношений не поддерживает. На вопросы о матери отвечает молчанием. Дважды уходила из детского дома, найдена на вокзале». Через три года: «Держится с ребятами из младших групп, помогает воспитателям с младшими, читает много». Катя посмотрела на дату и поняла, что между этими двумя приговорами прошло четыре года жизни девочки в семь лет, и что никто из писавших не считал, что он пишет о жизни.

В самом конце лежал список вещей, сданных при поступлении: «чемодан малый, платье, сандалии, фотография (1)». Против последней строки, рукой уже из двухтысячных, было подписано: «изъято 31.08.2005 при выпуске».

— Что за фотография? — спросила Катя.

— Обычная, — сказала Нина Павловна. — У неё всегда была одна фотография, чёрно-белая, и я её видала: она девочка с чемоданом. Она её не показывала, но раз держала в деле — значит, показывала, когда её принимали. Только её в деле нет, она её забрала, когда выпускалась, и правильно забрала: это её.

Катя достала из папки свой кадр — девочку у двери вагона — и положила на стол, рядом с актом. Директор посмотрела на него всего секунду и кивнула.

— Она, — сказала она. — Прямо она. А вы кто ей будете?

— Сестра.

Нина Павловна не удивилась.

— У нас с роднёй всегда так, — сказала она. — Приходят через двадцать лет и говорят: сестра. Я никого не расспрашиваю. Но я вам одно скажу про то дело, о котором вы всё равно спросите.

Она повернулась к сейфу, достала из него ещё одну папку — тонкую, в тесёмках, — и открыла.

— В девяносто восьмом году к нам приезжали двое: женщина и мужчина, мужчина в очках. Они написали заявление: просили отдать Катерину на воспитание в семью. Ходили с ней разговаривать, приходили два раза, она была в младших группах, ей было одиннадцать. Потом они заявление отозвали.

— Почему?

— Причина написана, — сказала Нина Павловна и повернула к Кате лист. Там, в графе, стояло четыре слова, написанных ровным, спокойным почерком: «по семейным обстоятельствам».

Катя долго смотрела на эти четыре слова.

— А в журнале входящих их фамилия есть? — спросила она.

— Журнала нет, — сказала директор. — В одиннадцатом году мы переезжали из старого корпуса, а журналы, которым больше десяти лет, списывали по акту. Приехали люди с машиной, увезли. Я при этом стояла и подписывала, и поверьте, мне не приходило в голову, что чей-то журнал за девяносто восьмой год кому-то будет нужен.

— А та женщина — она как выглядела?

— Молодая, — сказала Нина Павловна. — Моложе меня тогда. Некрасивая, но не от природы: она на себя смотрела так, будто на себя рассердилась. Я это запомнила, потому что за двадцать девять лет ко мне с заявлениями приходили одиннадцать раз, и все одиннадцать раз это были добрые люди. А эта была не добрая. Она была — решившая.

За окном по коридору шли малыши, и слышно было, как воспитательница считает их вслух, чтобы никто не потерялся на повороте.

— Она в городе, — сказала Нина Павловна. — Я вам адреса не дам, потому что мне за него отвечать, а я не знаю, кто вы. Но я вам скажу так: если вы к ней поедете — не начинайте со снимка. Начните с вашей фамилии. Она её носила восемнадцать лет и всё это время думала, что она одна такая.

Катя вышла на улицу. Был конец февраля, тополя стояли чёрные и мокрые, а за рынком убирали снег, и от этого казалось, что город уже начал жить весной, хотя до весны было три недели.

В Песчаногорске Катя осталась на четыре дня, хотя ехала на один.

Первомайскую она нашла сразу: 34-й дом стоял наискосок от интерната, через рынок, и это Катя отметила в блокноте — «адрес матери. в трёхстах метрах от ребёнка» — потому что человек, который хочет потерять, не селится рядом, а человек, который не может уехать, селится именно так.

Дом был старый, двухэтажный, с одним подъездом и с двумя акациями у входа. Во второй квартире жила Зоя Фёдоровна Короткова, семьдесят восемь лет, которая открыла дверь на цепочку и сняла цепочку только тогда, когда Катя сказала, что приехала не от милиции и не с бумагой, а спросить про Анну Черкасову.

Зоя Фёдоровна поставила чайник и села напротив, положив руки на стол, как садятся люди, которые давно никого не слушают и теперь готовы слушать сколько угодно.

— Анна Ивановна у нас в квартире жила, — сказала она. — С матерью, с Клавдией. Мать умерла в девяносто третьем, а Анна осталась. Она у нас тут с шестнадцати лет была замужняя, то есть не замужняя, а с ребёнком: девочку она родила в шестнадцать, а в семнадцать уехала в область работать и девочку оставила матери. Вот и всё, что про неё можно сказать хорошего.

— А что можно сказать плохого?

— А плохого ничего нельзя, — сказала Зоя Фёдоровна. — Плохого у неё в жизни было столько, что перечислять — это как жаловаться. Мать у неё была с руками: чуть что — ремнём. Анна выросла и выросла как могла. Девочку она привозила два раза в год, привозила конфеты, конфеты дорогие, я такие не покупала никогда. И вот эту девочку я в шестьдесят лет держала на руках, когда она была вот такая.

Она показала руками примерно полметра от стола.

— А в девяносто четвёртом?

— А в девяносто четвёртом Анна приехала в августе, — сказала Зоя Фёдоровна, — одна. И плакала в сенях, сидела на сундуке и плакала, а мать у неё уже померла, и утешать её было

некому, кроме меня. Я спросила: где девочка? Она сказала, что девочка в лагере. А через два дня девочка была в интернате, и я это узнала от неё же: она пришла и сказала: «Зоя Фёдоровна, я её отдала». Я говорю: как отдала? Она говорит: «Так. Ей там будет лучше».

Катя записала: «отдала. сказала — так». И подчеркнула.

— А почему она отдала?

— Разное говорили, — сказала Зоя Фёдоровна. — Я вам скажу, что знаю, а вы не переспрашивайте. Я знаю, что она не хотела. Я в тот год видела, как она собирала коробку и всё складывала и складывала туда какое-то детское, а потом эту коробку унесла. А через четыре года, в девяносто восьмом, она приехала с мужчиной и стала ходить в интернат и хотела её забрать.

— Почему не забрала?

— Вот этого я не знаю, — сказала Зоя Фёдоровна и впервые посмотрела на Катю прямо. — В интернате вам скажут больше. Я знаю только, что мужчина был в очках и всё держал папку. Он с папкой и в сени заходил. Такой не по-нашему одетый: пальто, шарф.

— А фотографии у вас от неё остались?

Зоя Фёдоровна встала, достала из серванта жестяную коробку из-под чая и высыпала на клеёнку то, что там было: штук двадцать снимков, квитанции, три квитанции на газ.

Катя смотрела на клеёнку и молчала.

Второй снимок сверху она узнала сразу, не глазами, а спиной: две женщины на реке, одна в профиль, в косынке, с платьем, у которого через плечо шли крупные пуговицы.

— Вот это Анна, — сказала Зоя Фёдоровна и показала на женщину в профиль. — А это мать её, Клавдия.

Катя перевернула снимок. На обороте была дата, написанная карандашом: тысяча девятьсот восемьдесят девятый год.

Значит, четыре кадра Хвостова — не единственное место, где эта женщина попала в кадр. Значит, она и в девяносто четвёртом была такая же, а платье с пуговицами она носила с восьмидесятых, потому что у людей с одной фотографией и одно платье. Катя по опыту знала: если женщина на всех снимках десяти лет в одном платье, значит, платье — её лучшее, и она в нём и замуж шла, и на суд ходила.

— Зоя Фёдоровна, а девочку фотографии есть?

— Были, — сказала соседка. — Анна их все забрала, когда приезжала. Все до одной. Я тогда удивилась ещё: зачем забирать фотографии ребёнка, которого отдала.

Она взяла снимок со стола, посмотрела на него и положила назад, и Катя заметила, что руки у неё чуть заметно дрожат, как дрожат руки у людей, которые говорят правду после долгого молчания.

Глава 3. Пятьдесят рублей

— Вы ей не говорите, что были у меня, — сказала Зоя Фёдоровна. — Она мне тогда оставила пятьдесят рублей и раз сказала, чтобы, если кто приедет про девочку спрашивать, я говорила, что не знаю ничего. Я, стало быть, пятьдесят рублей отработала, а правду рассказала вам сейчас, потому что мне семьдесят восемь лет, а не сорок. За семьдесят восемь врать уже не имеет смысла.

Катя вышла на крыльцо, села на ту же ступеньку, на которой сидела мать той девочки, и стала писать в блокнот по порядку, потому что по порядку это всегда короче: «мать — Черкасова А. И., 23 года, без места работы. Адрес. Соседка (78). Отдала 12—14.08.94. В 98-м приезжала с мужчиной в очках с папкой. Забрала все фотографии. Деньги соседке за молчание».

Она подчеркнула слово «все» и дважды обвела в кружок: кто-то в этой истории очень давно и очень последовательно вынимал из неё снимки.

До лагеря «Заря» автобус не ходил: он ходил до поворота, а от поворота надо было идти шесть километров по профилированной дороге между полем и полосой, и от этого лагерь казался не хуже любого другого места на свете — потому что все места, куда надо идти пешком, выглядят одинаково.

Ворота стояли на месте. За воротами была раздевалка с облезшими буквами «Добро пожаловать, ребята!», за раздевалкой — асфальтовая площадка, на которой летом тридцать лет ставили шеренгу, а теперь стояли кособокие качели без сидений и поленница.

Лагерь не был брошен. Он был переделан: в корпусе висели занавески, на кухне дымила труба, а у столовой сидел на табурете человек в ватнике и чинил лопату.

Человеком оказалась женщина, Валентина Егоровна Сотникова, семьдесят два года, и она тут работала поварихой с восемьдесят первого по двухтысячный, а теперь жила при сторожке, потому что в городе у неё была квартира без мужа, а здесь — печка, река и работа.

Лопату она отложила только тогда, когда Катя показала ей фотографию.

— Тридцать человек, — сказала Валентина Егоровна. — Это последний отряд, в девяносто четвёртом. Я их всех кормила, а помню только тех, кто не ел.

— Мне нужна девочка. Не заводская. Из первого отряда.

Валентина Егоровна повернулась к ней и долго молчала.

— Не по путёвке, — сказала она наконец. — Гостья. Да. Это я всё про неё знаю, потому что она ела у меня в столовой одна: у неё питания не было, и её кормили от стола, и она за это всегда мыла свою чашку и ставила на место, а наши дети чашки не мыли никогда.

Она села на табурет, подвинулась и похлопала по скамейке рядом.

— Её привёз вожатый — Юра, Черкасов, — сказала повариха. — И сказал мне так: «Валентина Егоровна, девочка побудет неделю». И эта неделя длилась всё лето, а потом ещё неделя. У неё был маленький чемодан, красный, с птицей на замке, он у неё всегда стоял под койкой, как будто она всё время собиралась уехать, — и она и уехала.

— Кто она ему была?

— Вот этого я вам не скажу, — ответила Валентина Егоровна. — Не потому, что не знаю, а потому, что в лагере про это говорили восемь разных вещей, и я не хочу врать на человека, у которого больше нет, кому ответить. Я вам скажу то, что видела. Она его звала Юрой. Он ни разу её не поправил и ни разу не сказал ей «дочка». Поняли?

Катя поняла.

— Он был у нас человек строгий, — сказала повариха. — У него дети ходили как по нитке. А при ней делался хуже: если она не ела, он не уходил из столовой; если она задерживалась у реки, он стоял на берегу и ждал. Мальчишки это чувствуют: они потом её пару раз

обижали нарочно, чтобы его вывести. Он не вывелся ни разу. Он вместо своего что-то у них отнял: у одного — свисток, у другого — рогатку, и бросил в реку.

— А в августе?

— В августе плохо было, — сказала Валентина Егоровна. — Одиннадцатого числа утром пришла начальница, Ефимова, и сказала: смена закрывается раньше, и девочку надо увезти, потому что она не заводская и её оставлять не с кем. Я это слышала своими ушами, я стояла у котла, а они за стенкой. Юра сказал: «Не увезёте». Она сказала: «Список не я составляю, Черкасов». А он сказал: «Значит, я составлю».

Она вздохнула и потёрла ладони, как будто они всё ещё были в тесте.

— Чем кончилось, я узнала вечером двенадцатого, — сказала повариха. — Он вернулся из Песчаногорска один, на автобусе, и сел на ступеньки у столовой. Я ему вынесла чай, потому что видела: человек нехорошо вернулся. Он чай взял и не выпил, и до темноты сидел, а я ушла спать и оставила его сидеть, и до сих пор жалею, что оставила, — не потому, что что-то могло случиться, а потому, что человек, которому надо в ту ночь с кем-то сидеть, — это редкий случай, и за сорок лет я таких видала два.

— А фамилия у неё какая была в списках?

— Черкасова, — сказала Валентина Егоровна. — Её записали Черкасовой, потому что путёвку из района выписывали на мать, а мать была Черкасова. Я сама видела эту путёвку: тонкая бумажка, печать районо, фамилия матери и «дочь, 7 лет». Так что тут никакого чуда нет: у них у обоих была одна фамилия, это уж как в жизни бывает — без всякого умысла, а потом на этом всё и держалось.

Катя сидела на скамейке у столовой, а напротив стояла раздевалка с надписью: «Добро пожаловать, ребята!», и за рекой садилось солнце, и всё это вместе выглядело ровно так, как выглядит на выцветших снимках, потому что там тоже всегда вечер и всегда обещают вернуться.

— Валентина Егоровна, — спросила Катя, — а она ждала мать?

— Она ждала, — сказала повариха. — Она каждый день ходила к воротам и смотрела на дорогу. И вот что я вам скажу: дети, которых привозят на один день, не плачут. Они просто каждый день ходят и смотрят на дорогу, потому что для них дорога — это мать, а мать — это дорога.

В мастерскую Катя вернулась через день, и первый, кого она увидела, был не заказчик, а Марина, которая работала с ней третий год и знала про фотографии всё, кроме того, что знать не полагается.

— Ты уехала на два дня, — сказала Марина. — Ты не уехала на два дня ни разу за три года.

— Я ездила в Песчаногорск.

— За городом?

— За одним снимком.

Марина не стала спрашивать. Она работала с плёнкой двадцать лет и знала, что реставратор — это профессия, в которой половина работы не рассказывается, потому что рассказывать её — значит пересказывать чужую жизнь, а это и есть то, чего нельзя делать.

Потом пришла заказчица, женщина лет пятидесяти пяти, с папкой, и принесла фотографию, каких Катя видела по десять штук в неделю: выпускной класс, солнце в объектив, у крайнего справа мальчика половина лица ушла в засвет.

— Вот это можно убрать? — спросила заказчица и показала пальцем туда, где лица не было.

— Убрать — можно.

— А сделать?

Катя положила снимок под лампу.

— Сделать — нельзя, — сказала она. — Тут плёнка белая. Тут нет информации. Я могу нарисовать ему лицо — я даже могу нарисовать его похожим, потому что у него брат в той же шеренге, и видно, что родня. Но это будет моё лицо, а не его. Через двадцать лет ваши дети будут показывать эту фотографию своим детям и говорить: вот дядя Саша. А дяди Саши в ней не будет, будет моя работа.

— А другие делают.

— Другие делают, — согласилась Катя. — Это называется реставрация с дополнением, и её заказывают, потому что людям нужна полнота. Я вам скажу, как я это понимаю, и вы сами решите. Реставрировать — значит убрать то, чего на снимке не было: царапину, плесень, залом. Восстанавливать — значит добавить то, чего на снимке не было никогда. Первое можно, второе — нельзя, потому что после него уже невозможно понять, где ты и где он.

Заказчица молчала.

— Очистить я вам очищу, — сказала Катя. — И скажу, что у него там, в засвете, видно: ухо, воротник, полплеча. Этого хватит.

Заказчица ушла, а Марина, которая всё это слышала из-за шкафа, сказала:

— Ты ей сказала правду, а она пришла с деньгами.

— Она придёт ещё раз, — сказала Катя. — Они всегда приходят ещё раз, но уже без командной фотографии, а с одной, где он один и снят ближе.

Так оно и было потом, но не в тот день. В тот день Катя осталась в мастерской после закрытия, села за стол и сделала то, что делала всегда, когда работа переставала быть работой: завела карточку.

Карточка реставратора — это половина листа плотной бумаги, где в графах стоит, что за вещь к тебе пришла, в каком она состоянии, что с ней сделано и что решено с ней не делать. Катя заполняла такие карточки восемь лет и знала, что они нужны не для отчётности. Они нужны, чтобы вещь не начала жить своей жизнью: пока у неё есть карточка, её судьба написана рукой, а не памятью.

Она написала сверху: «Коробка, ул. Радищева (Хвостова В. П.), 1 шт. групповой снимок 30х24, полоска негатива 4 кадра, июль—август 1994 г., Песчаногорск».

Потом в графе «состояние» перечислила по порядку: «заломы по краям, плесень по левому полю, утрата эмульсии в нижнем правом углу, надпись на обороте синим карандашом, второй надписью шариковой ручкой».

Потом в графе «что сделано» — то, что было сделано: «очистка, выравнивание, отпечаток контрольный 1 шт.»

Потом осталась графа «примечания», и в ней Катя, не подумав, написала: «Катя. Забрать 12.08».

Она посмотрела на эту строчку минуты две, потом зачеркнула её и сверху написала: «заказчик — Хвостова. снимок возвращается владельцу».

Но зачёркнутая строчка была видна, и от этого у Кати в мастерской стало так же неуютно, как в чужой квартире, где хозяин оставил на столе письмо и ушёл.

Дом с колоннами Катя нашла раньше, чем узнала его адрес: четыре колонны по фасаду видела вся улица, и в Песчаногорске его так и называли — «дом с колоннами», хотя колонны были не колонны, а четыре пилястры, облезшие до кирпича.

Расселяли его третий год. Из двенадцати квартир жилыми оставались четыре, в двух держали лодки, а на одной двери висел замок и приклеенная к нему бумажка: «Всё продано. Ключи у Толика», и бумажка выцвела до белизны.

Во дворе сидела на табурете старуха в двух платках и смотрела, как Катя идёт по тропинке.

— Вы ко мне? — спросила старуха. — Мне счета носили, а вы не похожи.

— Я про Хвостовых. Они тут жили, второй этаж.

— Тут все тут жили, — сказала старуха. — Я Мария Тимофеевна, я тут сорок девять лет, я тут всех знала, кроме молодых, которых я не считаю. Второй этаж — это Витька Хвостов. Фотограф. Он умер.

— Вера Петровна мне про него рассказывала.

— Померла? — быстро спросила Мария Тимофеевна, и Катя поняла, что спросила она по-старушечьи, про всё сразу, и по-человечески, про живого человека.

— Живая. Переехала на Садовую, к дочери.

— Ну и слава богу, — сказала Мария Тимофеевна. — Она у нас на втором, никуда не уезжает, а разбирается: дом-то расселяют, вот она потихоньку и выносит. Витькино барахло у неё всё в буфете стояло, она его не трогала, а как стали Витькину комнату разбирать, часть отнесла на чердак и сказала: «Возьмите, кому надо, а мне с этим жить не надо».

— А на чердак можно?

— На чердак-то? — Мария Тимофеевна посмотрела на неё так, как смотрят на человека, который спросил про что-то, лежащее в трёх шагах. — Там замок сломан двадцать лет. Иди, только фонарь возьми, там с восьмидесятых не убирались.

Фонарь нашёлся у неё же, в сенях, на гвозде, рядом с веником. Ключ от чердака не понадобился: замок висел сорванный и висел для порядка.

Чердак был крестовидный, во весь дом, с двумя слуховыми окнами, и в нём стоял тот особый холод, который стоит на чердаках весь год, независимо от погоды. Вдоль стены лежали вещи, которые человек выносит из квартиры, когда не может ни выбросить, ни взять с собой: лыжи без пар, детская кровать без одной спинки, три чемодана, венские стулья по одной ножке и коробки, коробок сорок, коробки в четыре яруса.

Катя нашла её на третьем ярусе, в середине, среди коробок из-под обуви. На боковой стенке — карандашом, рукой Вити Хвостова: «Лагерь. Заря. Списки».

В коробке лежали тетради, два блокнота в дерматиновом переплёте, пачка накладных, конверт с вырезками из районной газеты и жестяная коробка из-под монпансье, в которой Хвостов хранил квитанции.

Катя села на пол, на холод, потому что стоять было нельзя: стульев на чердаке не имелось, а держать коробку в руках — значило рассыпать её содержимое по утоптанной вате.

Первый блокнот был записей ровных, конторских: смены, рейсы, сколько плёнок израсходовано, сколько отпечатков сдано в цех на доску почёта. Всё это было не то.

Второй блокнот был без порядка. В нём на двух страницах лежал список первого отряда, двадцать четыре фамилии, аккуратно, с пометками: «Листратов — в гостинице», «Коврижных — до 14», а последней строчкой, дописанной карандашом, но неровно, как пишут не за столом, а на весу: «Черкасова К. — без путёвки».

На обороте той же страницы, чуть ниже, было ещё три слова, и эти три слова Катя читала дольше всего: «Юра просил не подписывать».

Она перевернула блокнот и стала искать год, и нашла: девяносто четвёртый, июнь—август.

Дальше в блокноте шли заметки двухтысячных годов: «Малинин дом — плёнку отдать», «Школа № 2 — не успел», «Витрина к 9 мая». А среди них, ближе к концу, чужой темой, одна строка, написанная шариковой ручкой, с датой: «Песчаногорск, интернат. Не пустили. Одиннадцатое сентября девяносто восьмого».

Катя положила блокнот на колени.

Значит, Хвостов ездил в интернат сам. Значит, не только двое в очках ездили в тот год в Песчаногорск. Значит, было в этой истории ещё одно лицо, о котором Вера Петровна не знала, потому что муж не сказал ей, а Витя Хвостов был из тех людей, которые в чужую жизнь не пускают никого, включая жену, а делают молча.

В коробке с монпансье лежали квитанции фотоателье, все на одно имя, все старое, и на последней, датированной двадцать девятым августа девяносто четвёртого года, стояло от руки, в графе заказа: «проявка, плёнка 36 кадров, отпечатки 4 шт. — не выкуплено».

Четыре отпечатка. Катя посчитала кадры на полоске — тех, где была девочка. Их было четыре. Он проявил плёнку, он отобрал четыре кадра, он сдал их в ателье и не выкупил, и бумаги с них не существует ни у кого, кроме неё, и то только потому, что она сама напечатала их через тридцать лет.

Она сидела на чердаке ещё четверть часа и слушала, как во дворе Мария Тимофеевна разговаривает сама с собой, потому что в её положении это было не странно, а необходимо.

Когда Катя спустилась, старуха спросила первое, о чём спросила бы любая на её месте:

— Бумаги-то заберёшь?

Катя посмотрела на коробку в своих руках и ответила не сразу, потому что понимала, что ответ будет враньём в любую сторону.

— Заберу, — сказала она. — И верну.

— Ну-ну, — сказала Мария Тимофеевна. — Все так говорят. У меня вон с чердака семь чемоданов унесли, и ни один не вернулся. А ты бы хоть не ври. Я не для того тебе фонарь давала, чтобы ты врала.

Ефимова Вера Ивановна жила в посёлке Заречный, в тридцати километрах от Песчаногорска, в доме на четыре квартиры, и Катя ехала к ней без всякой надежды: начальнику лагеря, который закрылся в девяносто девятом, было в девяносто четвёртом за шестьдесят, а значит, теперь за восемьдесят.

Ей открыла женщина восьмидесяти лет, в зелёном халате, с короткой стрижкой, и, услышав, зачем пришли, не удивилась, а сказала:

— Идите на кухню. Я как раз чай поставила. Вы от районо?

— Я не от районо.

— Ну и хорошо, — сказала Вера Ивановна. — От районо мне тридцать лет ничего не надо.

На кухне, над столом, висела карта района, вся в отметках карандашом, и в углу на гвозде — пионерский горн с отломанным мундштуком, который не выбросили, а повесили.

— Лагерь закрыли в девяносто девятом, — сказала Вера Ивановна, не дожидаясь вопроса. — Не потому, что плохой был, а потому, что заводу стало не до детей, а району не до лагеря. Я отдала ключи первого сентября девяносто девятого и с тех пор не была там ни разу. Пятьдесят один год, между прочим. Я туда пришла в сорок восьмом году, ещё пионервожатой, и проработала до девяносто девятого.

Катя достала фотографию.

Вера Ивановна посмотрела на неё и поставила чашку.

— Это последняя смена, — сказала она. — Я её помню, потому что она была последняя у Черкасова. Он от нас в том августе уволился, по собственному, и больше я его не видела.

— Мне нужна девочка. Не заводская. Из первого отряда.

— Она в третьем была, — сказала Вера Ивановна. — В третьем, старшем, у него в отряде. В первый её записать было нельзя: в первом были малыши, и туда как раз приехала проверка из района. А кто вам сказал про первый?

— Никто. Я так предположила.

— В бумагах предполагать нельзя, — сказала Вера Ивановна. — В бумагах надо смотреть, потому что после тебя по этой бумаге будет жить человек.

— Черкасова Катя, — сказала она, не подумав ни секунды. — Её привёз он. В июне, в середине, я помню: у нас заезд был двадцать шестого, а он приехал с ней пятнадцатого, когда лагерь ещё пустой, и это было видно всем.

— Как он её привёз?

— По-человечески, — сказала Вера Ивановна. — Он не стал её прятать. Он пришёл ко мне в кабинет, сел на стул и сказал: «Вера Ивановна, я её привёз, потому что её больше некуда. Жить ей у меня негде, у меня комната в общежитии и жена в другом городе. Если скажете — отвезу назад». Я спросила: чья она? Он сказал: «Моя». Я не стала спрашивать дальше, потому что мне тогда было шестьдесят четыре года, я знала, чем заканчиваются такие вопросы, и потому что дети в лагере живут, а не происходят.

Вера Ивановна налила чай обеим и вдруг сказала:

— Вы не думайте, что я так легко решила. Я поехала в районо и оформила её на мать.

— На мать?

— Путёвка у нас была на Черкасову А. И., — сказала Вера Ивановна. — Так выписали в районо, я не знаю, кто и по какой просьбе. Врать не буду: я попросила выписать путёвку на неё, потому что без путёвки у меня ребёнка в лагере держать нельзя, а у неё в бумагах была мать. Так она и попала в список как «дочь, семь лет».

— И до августа всё было спокойно?

— До августа было хорошо, — сказала Вера Ивановна и посмотрела в окно. — Она была девочка тихая. Её в лагере не любили, потому что она была гостья, а дети не любят, когда к кому-то особое. Он её держал при себе, но не на виду: он ей на день не давал больше внимания, чем другим, а вечером ходил с ней к реке. Вот и всё, что я помню за два месяца, и это, если хотите знать, вся любовь, которую я видела в своей жизни. Мужики у нас кричат про любовь, а он ходил к реке и молчал.

Катя подождала и спросила про август.

— Двенадцатого числа вышел приказ, — сказала Вера Ивановна. — Точнее, звонок, а приказ — это уже потом, задним числом, у нас всё так было. Смену закрывали раньше срока, на неделю. И по трём детям были заявления родителей — их снимали с питания и вывозили двенадцатого. Я составила акт на троих, которых вывозили по заявлениям родителей, и отдельный — на неё.

— Почему на неё отдельный?

— Потому что её не вывозить надо было, а убирать из списков, — сказала Вера Ивановна, и голос у неё стал ровным и твёрдым, как в кабинете. — Вот тут слушайте внимательно, вы ведь за этим приехали. Мне позвонили из районо, и в трубке мне женский голос сказал: до двенадцатого августа эту девочку из списков убрать. Я спросила: почему до двенадцатого? Мне ответили: по заявлению. Я спросила: чьё заявление? И мне не ответили, а сказали, что вечером приедет инспектор.

Она поставила чашку точно на середину блюдца.

Глава 4. Шляпа с полями

— Инспектор приехала, — сказала Вера Ивановна. — Молодая, года двадцать пять. С папкой, в шляпе с полями. Я её не запомнила бы, но она мне не подала руки, а у нас в районе все подавали. Она сказала: девочка не заводская, лагерь закрывается раньше, содержание её ни на ком не лежит, значит, оформляем в детский приёмник. Я говорю: у неё есть вожатый. Она говорит: вожатый — не основание.

Катя записала: «инспектор. 25 лет. папка. шляпа с полями. не подала руки. 12.08 — из списков убрать».

— Акт мы составили утром двенадцатого, — сказала Вера Ивановна. — Формулировку «не имеющая путёвки районного отдела народного образования» он написал сам, своей рукой, и я подписала, и я знаю, что вы сейчас подумаете: зачем вы подписали?

— Зачем?

— Затем, что с актом её везли в приёмник по-человечески: с сопровождающим, с вещами, с датой, — сказала Вера Ивановна. — А без акта её бы вывезли как бесхозную, вместе с имуществом лагеря, и я бы год потом писала объяснительные, а она бы год потом никому не была нужна даже на бумаге. Я подписала, потому что я двадцать девять лет подписывала бумаги на детей, у которых не было никого, и лучшего выхода не бывает. Вот и вся моя подлость, и я её на себя беру, и вы можете писать про меня что хотите.

— Я не пишу, — сказала Катя. — Я реставрирую фотографии.

— Ну и хорошо, — сказала Вера Ивановна. — В карточках хотя бы не надо выбирать.

Она встала, вышла в сени и вернулась с плоской дерматиновой папкой, обвязанной ленточкой, такой же, как делали в конторах, и положила её на стол.

— У меня дома копии всех актов за мой срок, — сказала она. — Я их не выбрасываю, потому что за каждым человек, а я в районе четверть века была ответная. Вот, смотрите: копия, снятая через копирку, потому что копировальной машины у нас не было.

Катя взяла лист. Восемь строк, две подписи, печать. И на обороте, старым карандашом, рукой Веры Ивановны: «Мать не приехала. Юра вёз её сам».

Катя прочитала эту строчку вслух, тихо, и Вера Ивановна сказала:

— Я её в тот же вечер написала. И ещё год потом ждала, что за ней кто-нибудь приедет и я эту приписку зачеркну.

Вокзал в Песчаногорске был маленький, тупиковый, с одной платформой и с водопроводной колонкой у третьего пути, и Катя приехала туда за полчаса до поезда просто потому, что ей надо было там постоять: Павел Ильич сказал, что вожатый в тот день сел на скамейку, где бабы торговали семечками, и Катя хотела увидеть, куда он сел.

Скамейка стояла между колонкой и входом в буфет, крашеная в зелёное, и на ней сидели двое: мужчина с сумкой и старуха в мужском пиджаке поверх трёх кофт.

Старуха продавала семечки. То есть продавала она их последний раз, по её собственным словам, в две тысячи третьем году, но сидела на этом месте каждый день всё равно, потому что «место надо держать».

Звали её Прасковья Ивановна, ей было восемьдесят четыре, и она торговала на этом перроне с семьдесят девятого года.

— Детей заводских я всех помню, — сказала она, когда Катя показала ей фотографию. — Они у меня покупали. Лагерных увозили в четыре двадцать, вечерним, через день по чётным, потому что поезд у нас через день, а другого не было.

— А двенадцатого августа девяносто четвёртого?

Прасковья Ивановна посмотрела на неё сбоку, как смотрят торговки, когда покупатель называет точную цену без торга.

— Тогда трое уезжали, — сказала она. — Двое девчонок и мальчишка, и с ними вожатый был, молодой, и воспитательница. Их сдавали под роспись, я видела: воспитательница стояла с бумагой и отмечала.

— А ещё одну девочку в тот день вы не помните?

— Девочка с чемоданом, — сказала Прасковья Ивановна сразу. — Красный чемодан, маленький, с птицей на замке. Она стояла у третьего вагона, и её никто не брал.

Катя села на скамейку рядом, и старуха подвинулась, освобождая ей половину.

— Я вам так скажу, — начала Прасковья Ивановна, — я на этом перроне тридцать лет простояла и видела много. Я видела, как людей встречают и как их провожают, и это две разные науки. Кого провожают, те стоят близко, а кого встречают, те стоят далеко и смотрят по вагонам. А тогда было ни то, ни другое: у третьего вагона стоял мужчина и доказывал начальнику поезда, а девочка стояла рядом и держала чемодан двумя руками, как держат чужое.

— Что говорил мужчина?

— Ругались они тихо, — сказала старуха. — Я слышу плохо с той стороны, но слышу хорошо, когда тихо, потому что тихое всегда слышнее. Здесь так и было: он говорит одно, начальник поезда говорит другое, и оба вежливо. Начальник поезда — он человек бумажный, ему что надо? Ему список. Он ей в список не мог её вписать, потому что список заводской, а она не заводская.

— И чем кончилось?

— Кончилось тем, что он её повёл, — сказала Прасковья Ивановна. — Он забрал у неё чемодан, взял её за руку и повёл мимо вагонов, дальше. Я головой ему показала: отсюда не ходят, туда не посадят. А он идёт.

Она помолчала и добавила, без всякого перехода, как вспоминают давно отложенное:

— А у четвёртого вагона женщину в вагон подсаживали. В белом платье. С ребёнком на руках.

— Расскажите про неё.

— Рассказывать нечего, — сказала Прасковья Ивановна. — Молодая, в белом платье, длинном, по подолу грязь, потому что она по перрону шла и подол не подбирала. Ребёнок у неё был вот такой.

Она отмерила ладонями от стола воздух — треть локтя.

— Я тогда подумала: с ума сошла баба. Ей бы в роддоме лежать, а она в поезд. Её подсаживали двое, она не могла подняться, и один из них держал её под руку, а второй держал кулёк. Кулёк был с бумагой, я такое видела: у нас в роддоме выдают свидетельство и заворачивают в бумагу, если конверта нет.

Катя слышала, как у себя в горле стало тесно.

— А вожатый? Он это видел?

— Он к ней обернулся, — сказала старуха. — Я это помню, потому что он до того шёл к дальним вагонам, а тут обернулся и постоял. Девочка его за руку тянула. Он постоял и пошёл дальше.

Поезд в область ушёл, часы на вокзале показывали без четверти пять, и Катя спросила про шесть минут.

— Шесть, шесть, — согласилась Прасковья Ивановна. — Я по этому поезду мешок закрывала, у меня весь порядок от него шёл: дети уехали, я мешок завязываю, потом милиционер по перрону идёт, потом пусто. Шесть минут, не больше: он у нас не стоит, ему стоять негде.

Катя записала и не убирала блокнот, потому что оставался последний вопрос, ради которого она, если честно, и приехала на вокзал.

— Прасковья Ивановна, а мужчина в шляпе? Такой, с папкой?

Старуха вдруг перестала смотреть в сторону и посмотрела на Катю прямо.

— Был, — сказала она. — У колонки стоял. Шляпа с полями, папка под рукой, как держат то, что не своё. Он при детях не был, он в стороне стоял и смотрел, как она в вагон садится, а потом пошёл к конторе.

— Вы его знали?

— Нет, — сказала Прасковья Ивановна. — И больше я его не видела ни разу, а я тут стояла каждый день до двух тысяч третьего года, и всех, кто у нас бывает, я знаю по походке. Из района у нас приезжали трое, и все трое в шляпах не ходили, они ходили в кепках.

Она подобрала свой мешок, высыпала из него остатки семечек на скамейку — птицам — и сказала уже совсем другое, спокойным, домашним голосом:

— А девочку я помню вот чем. Дети у меня семечки покупали, а она не покупала: у неё денег не было. Я ей один раз дала горсть, просто так, и она сказала спасибо. И не съела. Я смотрела: она в кулаке их держала, а потом в чемодан положила, к вещам. Вот и весь мой сказ.

В областной больнице архив был в подвале, и в нём сидела женщина по фамилии Дьякова, которая двадцать лет выдавала людям их собственную жизнь в виде картонных папок.

— Родство покажете? — сказала она.

Катя положила на стол свидетельство о рождении, свой паспорт и справку с завода о том, что Черкасов Юрий Петрович работал в цехе до декабря девяносто четвёртого года.

Дьякова смотрела бумаги дольше, чем требовалось, и Катя поняла: она смотрит не на бумаги, а на человека, потому что за двадцать лет научилась отличать, кому папка нужна для дела, а кому — для того, чтобы закрыть то, что не закрывается.

— Он умер в двухтысячном, — сказала Дьякова. — У нас хранение двадцать пять лет, я его карту обязана держать до двадцать пятого года, и я вам скажу честно: вы пришли вовремя, а не через два года. Через два года пришёл бы человек с актом и увёз всё в макулатуру.

Она принесла папку. Папка была толстая, потому что Черкасов Юрий Петрович лечился шесть лет и лежал четыре раза, и в карте от каждой госпитализации оставался свой блок листов.

Катя начала с первого.

«Поступил 12 декабря 1994 года из цеха, с приступа. Состояние средней тяжести. Диагноз: опухоль желудка, состояние после обследования — рекомендована операция».

Она перечитала дату трижды, чтобы не ошибиться. Восемнадцатого августа девяносто четвёртого года закрылась смена, а двенадцатого декабря он уже лежал здесь, и между этими датами была вся та осень, в которую он, по словам матери, был в Москве, а по трудовой книжке — в цехе.

Дальше шли листы ровно, как расписание: январь девяносто пятого — резекция; март — повторное; девяносто шестой — третья группа инвалидности и снижение по цеху; девяносто седьмой — без изменений; девяносто восьмой — без изменений, больной просит не направлять извещения по месту работы жены.

Катя остановилась на этой строчке. Она стояла посреди карты, как стоит в чужом письме имя, которого ты не ждёшь.

Он лечился шесть лет. Он писал заявления о том, чтобы жене не сообщали. Он умирал медленно, по графику, который был известен ему одному, и всё это время в его семье — в её семье, за её столом, в её комнате — об этом не говорили ни слова.

Она дошла до записей девяносто девятого года.

«14—18 сентября 1999 года. Больной отсутствовал в отделении самовольно. Со слов больного: ездил в город Песчаногорск, к дочери. Проведена беседа о необходимости соблюдения режима».

Ниже, другой рукой, приписка дежурной медсестры, короткая, как доклад: «При возвращении принёс справку о состоянии здоровья, просил заверить копию. 20.09 выдана справка для предъявления в детское учреждение».

Катя положила блоки листов один на другой и села прямо, потому что спинка стула была низкая, а она вдруг перестала понимать, где она находится.

Он уехал из больницы на четыре дня, в чужой город, за двести километров, с диагнозом, с которым не ходят даже до столовой. Он привёз в интернат справку о состоянии здоровья — потому что это первая бумага, которую требуют, когда одинокий больной человек хочет взять ребёнка из детского дома.

И справка ничего не дала. Через пять месяцев он умер.

Катя перевернула лист. Последний блок лежал сверху, он был тонкий.

«Поступил 24 января 2000 года в тяжёлом состоянии. Проведён курс симптоматического лечения. Состояние прогрессивно ухудшалось».

В графе «исход» стояло: «Смерть 21 августа 2000 года».

Ей было шесть лет и девять дней. Мать сказала ей тогда, что папа умер, и сказала это слово, которое для пятилетней было словом из книжки и означало, что папа был, а теперь его нет, и что об этом нельзя спрашивать дважды.

Катя смотрела в карту и понимала, что вот здесь, в этой папке, всё это время лежала вторая, неизвестная ей семья — не чужая, а своя, просто отложенная в сторону: отец, который шесть лет молчал, мать, которая шесть лет молчала, и девочка в интернате, которая никого не спрашивала, потому что ей было не у кого.

— Начитались? — спросила Дьякова, заходя. — Я тут двадцать лет, я вам так скажу: карта — это самый честный документ, потому что её заполняют не для людей, а для отчёта, и в ней поэтому не врут.

— Можно сделать копию вот этой записи? — Катя показала на четырнадцатое сентября.

— Запись делается по заявлению, — сказала Дьякова, — но листок я вам подготовлю. Только знаете, что? — Она помолчала. — Вы бы не заявление писали, вы бы зашли в областную библиотеку. У нас в августе двухтысячного в городской газете был некролог, короткий, от цеха: «Черкасов Ю. П., пятьдесят два года». Там фамилии и года хватает, а родственники так узнают больше, чем из карты, потому что в карте пишут, чем болел человек, а в газете пишут, кем он был.

Катя записала и это.

На выходе из больницы было мокро и светло, стояла та погода, после которой в городе наконец начинается весна, и Катя шла пешком до автовокзала двадцать пять минут, вместо того чтобы ехать, и всё время считала даты: четырнадцатое сентября девяносто девятого — четыре дня отлучки; двадцатое сентября — справка; двадцать четвертое января двухтысячного — тяжёлое состояние; двадцать первое августа — смерть. Сорок восемь недель между справкой и смертью. Ей казалось, что за эти сорок восемь недель можно было успеть многое, и она не могла понять, что ей делать с этой мыслью, потому что было уже поздно.

Вера Петровна открыла ей дверь и с порога сказала:

— Вы лазили на наш чердак.

— Лазила.

— Ну и правильно, — сказала Вера Петровна. — Мне туда уже не подняться, а Витькины коробки там стоят четвёртый год, и я про них вспоминаю каждую субботу. Проходите, я как раз чай поставила.

На кухне она села и стала смотреть, как Катя достаёт из сумки дерматиновый блокнот, и лицо у неё было такое, какое бывает у людей, которые сейчас увидят почерк человека, умершего десять лет назад.

Катя открыла на списке.

— Первый отряд, — сказала Вера Петровна. — Это июнь. Он их переписывал для отчёта, он всегда сначала писал начисто, а потом отдавал в контору.

— А вот здесь, внизу.

Вера Петровна надела очки, которые держала в кармане на шерстяной нитке, и прочитала строку, написанную карандашом на весу:

«Черкасова К. — без путёвки».

Она прочитала её дважды, потом перевернула страницу и прочитала просьбу Юры — три слова, от которых Катя вчера на чердаке не могла оторваться.

— Ну вот оно, — сказала Вера Петровна.

— Что оно?

— Витя мне тогда сказал одну фразу, — сказала Вера Петровна, снимая очки. — В восемьдесят девятом, когда он про даму эту рассказывал, пьяный. Я её не поняла и потому запомнила, а теперь, стало быть, поняла. Он сказал: «Если её не будет на карточке, то её не будет нигде». Я ему ещё сказала: Витя, ты пьяный, ляг. А он: «Не будет нигде, и никто не спросит».

— Почему он так считал?

— Потому что он был шофёр и снимал, — сказала Вера Петровна. — Он по своей работе знал, что человек в бумагах есть, а без бумаг его нет. И он тогда в четыре кадра её снял — в четыре, я считала, когда полоску держала. И просил у него Юра: не подписывай. Витя и не подписал. Потому что Витя Хвостов не подписывал то, что просят не подписывать. Он в этом был человек упрямый, и я за это упрямство двадцать лет держала на себе буфет, который мне не нужен.

Катя положила блокнот на стол и рассказала про строчку за сентябрь девяносто восьмого: про то, что Витя ездил в Песчаногорск и его не пустили.

Вера Петровна слушала и не удивилась ни одному слову.

— Они пришли к нам в июле, — сказала она. — Женщина и мужчина в очках. Женщина говорила, мужчина молчал и держал папку, а папка была завязана на тесёмку, и он её ни разу не открыл, потому что бумаги в таких папках держат не для того, чтобы показывать.

— Что она спрашивала?

— Она спросила: все ли карточки у вас, — сказала Вера Петровна. — Витя сказал: все. Она сказала: вы лучше проверьте. Я тогда ещё подумала: как это — проверьте? И она ушла, и они с крыльца не смотрели на наш дом, а смотрели на улицу, как смотрят люди, которые пришли не в гости, а по делу.

Она налила чай и долила кипятку второй раз.

— А Витя в ту ночь не спал. Он взял коробку с плёнками и все их перебрал, а это работа на восемь часов, и к утру он мне сказал: «Полоска у меня». Вот и всё, что я знаю. За это я и замуж за него вышла — за то, что он в три часа ночи умел сесть и по-честному перебрать восемь часов плёнок.

Катя ждала третьего вопроса, и Вера Петровна его задала.

— Вы её видели?

— Пока нет.

— Увидите, — сказала Вера Петровна. — Только я вам скажу то, что я знаю про эту женщину, а вы после этого думайте сами. Она приходила к нам в дом за фотографиями — за старыми, за чужими, за девочкиными, за семь лет до того, как её дочь выпустилась из детского дома. Это значит, что она хотела не девочку, а чтобы девочки не было в бумагах. И когда она её в девяносто восьмом просила отдать — она её просила не потому, что полюбила, а потому, что испугалась.

— Чего?

— А того, что девочка вырастет и сама начнёт читать, — сказала Вера Петровна. — Я на своём веку четырёх таких видала, и все они испугались одного возраста.

Катя записала и это, а потом убрала блокнот и сказала то, о чём думала всю дорогу:

— Вера Петровна, я не знаю, говорить ей про это или нет.

Вера Петровна посмотрела на неё и ответила не сразу.

— А вы не решайте за неё, — сказала она. — У нас в этом городе половина домов живёт с бумагой, про которую дома не говорят. У одних она в шкафу лежит, у других в деле, у третьих вообще нигде, а держится всё равно. Разница только в том, что к вам это коробкой приехало, а к другим приходит пенсией, квартирой и молчанием за воскресным столом. Вы не думайте, что вы одна такая. Вы, наоборот, считайте, что вам повезло: у вас это на бумаге, а значит, можно прочитать.

Дом на Садовой, двенадцать, был обычный кирпичный дом семидесятых, и в третьем подъезде, в квартире напротив мусоропровода, жила Алла Викторовна Пахомова, дочь Веры Петровны, сорока шести лет, работавшая в аптеке на углу.

Буфет стоял в прихожей, у стены, и был он тот самый: тёмный, тяжёлый, с резьбой по верхней дверце, с зеркальцем в проёме, всё, как помнила Катя по гостиной дома с колоннами.

— Мать его нам отдала, — сказала Алла Викторовна, — потому что в доме его выносить некуда, а выбрасывать она не выбросит: там отца запах.

— Мне бы посмотреть, что в нём.

— Да смотрите, — сказала Алла Викторовна. — Там посуда, скатерти и пачка рентгеновских снимков, которые отец почему-то хранил. Он всё хранил. У него даже плёнка была от тридцатых годов, которую он не мог проявить.

Катя открыла верхние дверцы. Потом средние. В нижнем отделении, слева, был ящик, который не выдвигался: его держала сбоку деревянная щепка, вставленная, судя по цвету, руками и давно.

— Он заедку эту сам подсунул, — сказала Алла Викторовна. — Я в детстве этот ящик пыталась открыть сто раз, а мне говорили: заело. Ну, заело и заело.

Катя посмотрела на неё, и Алла Викторовна это посмотрела: она была женщина простая и понимающая.

— Вытаскивайте, — сказала она. — Мне пятьдесят недавно, я тут стоять не собираюсь.

Щепку вынули, ящик выдвинулся на две трети и застрял. В нём лежала одна вещь: конверт из плотной бумаги, перегнутый пополам, без надписи.

В конверте были две бумаги.

Первая — копия заявления, снятая через копирку, оттого синяя и наполовину нечитаемая, но читаемая всё-таки:

«В районный отдел народного образования. От Хвостова В. П., город Песчаногорск, улица Радищева, дом с колоннами, кв. 4. Прошу сообщить, куда и на каком основании двенадцатого августа 1994 года вывезена из пионерского лагеря «Заря» воспитанница Черкасова К. В., 1987 года рождения, и кто является её законным представителем. Приложение: фотографии — 8 штук. Двенадцатое сентября 1998 года. Подпись».

Вторая бумага была ответом, отпечатанным на машинке на четверти листа, с угловым штампом и номером:

Глава 5. Ответ на обращение

«На Ваше обращение по вопросу воспитанницы Черкасовой К. В. сообщаем, что она находится в детском доме города Песчаногорска на полном государственном обеспечении. Законным представителем несовершеннолетней является государство. Оснований для предоставления запрашиваемых сведений не усматривается. Приложение: фотографии в количестве 8 (восьми) штук возвращаются заявителю. Инспектор районо (подпись неразборчива)».

Катя держала обе бумаги и молчала, потому что говорить было нечего.

Человек, который третий год ездил с фотоаппаратом в чужой пионерский лагерь, в три часа ночи перебрал восемь часов плёнок, чтобы отобрать четыре кадра, — этот человек написал в районо заявление и приложил к нему восемь отпечатков. И ему эти восемь отпечатков вернули вместе с ответом, в котором было сказано, что оснований не усматривается, а законный представитель — государство.

— Он их не выбрасывал, — сказала Алла Викторовна. — Он их в конверт и в ящик. Я бы на его месте порвала.

— Он не мог, — сказала Катя. — Это его работа.

— Ну, работа, — согласилась Алла Викторовна и вдруг села на табурет, стоявший в прихожей, как будто ей стало тяжело. — А вы знаете, что он мне сказал один раз? Один раз за всю жизнь. Мы с ним на балконе сидели, он пил чай, я первый класс заканчивала. Он сказал: «Аллка, есть человек, которого я не вывез». И больше ничего. Я потом матери это говорила, она говорит: не выдумывай. А я не выдумывала, я только не знала, что это была девочка из интерната, потому что он про девочку в интернате мне не говорил.

Она вытерла щёку тыльной стороной руки, просто и без всякого.

— Он в тот год после этого аппарат на полку положил, — сказала она. — Нет, он не перестал снимать, он не мог без этого жить. Но людей он больше не снимал. Он снимал демонстрации, доски, витрины и один раз лошадь, и всё. Я думала — у него руки испортились. А у него, оказывается, в ящике это лежало.

Катя спросила про самое простое и самое важное:

— Алла Викторовна, а где эти восемь фотографий?

Алла Викторовна посмотрела на неё и развела руками.

— Где-где. В районо, — сказала она. — Он их отдал, значит, их у него нет. Их у него вернули, значит, они при нём были. Я всю квартиру перебрала, когда мать у нас жила. Их нет ни в буфете, ни в стенке, ни в его кладовке.

— Значит, они были при нём, и он их с чем-то отдал.

— Или сжёг, — сказала Алла Викторовна. — Он бумаги не жёг. Он, наоборот, всё держал. Но тут я вам так скажу: если человеку вернули восемь фотографий и сказали, что оснований не усматривается, он эти фотографии может и сжечь, — и это будет правильное действие, а не слабость.

Катя положила обе бумаги на место, в конверт, и закрыла ящик, и снова всунула на место щепку, потому что за три года работы она привыкла возвращать вещи в то состояние, в котором их нашла.

— Я к вам ещё приду, — сказала она.

— Приходите, — сказала Алла Викторовна. — Только я вам сразу скажу: тут в этой квартире больше ничего нет, и я даже рада. Мне пятьдесят лет, а я всю жизнь живу с буфетом, в котором заедал ящик.

Алла Викторовна позвонила через неделю, в четверг, вечером, и говорила коротко, как говорят с человеком, которого не хотят пугать раньше времени.

— Я на антресолях нашла. Над коридором, где отцовские папки. Приезжайте, только не в воскресенье.

Антресоль над коридором была низкая, в полметра, и Катя с Аллой Викторовной вынимали из неё всё по очереди: папку с чертежами, папку с квитанциями, три пачки газет «Правда», перевязанных шпагатом, школьные тетради самой Аллы и два фотоаппарата, один «Смена» без объектива, другой «ФЭД» с заклеенной изолентой крышкой.

А под фотоаппаратами, в самом дальнем углу, лежал конверт — обычный почтовый, коричневый, с потёртым верхним краем, и на нём рукой Хвостова было написано одно слово, которого Катя ждала: «Вернули».

В конверте было восемь отпечатков, размером девять на двенадцать, все чёрно-белые, все летние.

Катя разложила их на столе в ряд и стала смотреть.

Шеренга у корпуса. Костёр, вокруг него дети, лица размыты. Река, плотик, четверо в трусах по колено. Линейка с флагом. Спальни, кровати, на каждой тумбочка с горшком цветов. Столовая, обед, компот в гранёных стаканах. Мальчишки за забором, снятые снизу, все поднимают руки. Автобус и дети с чемоданами у дороги.

Восемь снимков, и ни на одном из них не было того, за чем их отправляли.

Катя села и заставила себя смотреть ещё раз, медленно, от края к краю, потому что в её работе нет более надёжного способа найти то, что спрятано, чем смотреть на предмет, на который никто не думал смотреть.

На седьмом отпечатке их было двадцать восемь: шеренга, флаг, четыре взрослых сбоку. На восьмом — автобус, портфели, чемоданы, дети спиной.

А вот последний отпечаток, девятый, лежал отдельно, и он был обрезан.

Тот же сюжет: автобус, дети с вещами, дорога. Только справа, там, где край кадра уходил за спинку автобуса, лист был обрезан — аккуратно, по линейке, ножницами, ровно, как обрезают бумагу в конторе, и обрезано было по фигуре. Катя навела на обрез свою лупу.

На срезе, в последнем миллиметре изображения, стояла половина маленького чемодана, красного в чёрно-белой передаче, с двумя лапками защёлок, и рядом — детская рука, которая держала ручку чемодана.

Хвостов обрезал её. Он снял девочку четырьмя кадрами, он отправил в районо восемь снимков, на которых её не было, и в одном снимке, где она заходила в кадр с самого краю, он ножницами отрезал край, чтобы её не было и там.

— Он что, резал? — спросила Алла Викторовна, которая смотрела через её плечо.

— Резал, — сказала Катя. — Он отправлял в районо заявление с восемью фотографиями и один снимок обрезал.

— Зачем?

— Затем, чтобы им нечего было смотреть, — сказала Катя. — Если человек пишет, что ребёнок пропал из списков, и прикладывает к письму снимки, где этого ребёнка нет, то письмо некуда пришить. А если бы её лицо там стояло, они бы нашли её через него.

Алла Викторовна села на табурет у стены и посмотрела на конверт, в котором лежали восемь фотографий, возвращённые заявителю вместе с ответом, в котором было сказано, что оснований не усматривается.

— Он их не сжёг, — сказала она. — Он их в конверт и на антресоль, и написал сверху «вернули». Мать бы это слово написала иначе.

— Как?

— Мать бы написала «отказали», — сказала Алла Викторовна. — Это разные вещи. Значит, он их не порвал, а положил.

Катя собрала фотографии, вложила их обратно, и конверт легла на стол той самой стороной, на которой стояло слово, написанное человеком, который в марте две тысячи первого года ещё не знал, что умрёт, и потому держал бумаги, а не рвал их.

— Я хочу показать это Вере Петровне, — сказала Катя.

— Нет, — сказала Алла Викторовна.

Она сказала это сразу, без раздумья, и потом объяснила:

— Она их видеть не будет. Она их тридцать лет видит во сне: она мне говорила, что ей снится, будто отец ходит по дому и ищет плёнку. Я ей скажу, что конверт нашёлся, и скажу, что у вас. Она спросит: там девочка? Я скажу: нет. Она скажет: ну и хорошо. И на этом всё будет кончено, и ей будет легче, чем если она посмотрит.

Катя положила конверт в сумку и уже в прихожей, у буфета, спросила то, что должна была спросить:

— Алла Викторовна, а те фотографии, которые он снял с нею, четыре кадра, — их у вас кому оставить?

Алла Викторовна открыла ей дверь и ответила в дверях, потому что в дверях человек говорит коротко.

— Не мне, — сказала она. — Я вам так скажу: у нас в семье с этим конвертом уже все решилось тридцать лет назад. Отдайте их той, кого там нет. Это её отец, а не мой.

Нина Павловна позвонила сама, в конце февраля, и сказала в трубку не «здравствуйте», а сразу дело:

— Приезжайте. Не по телефону.

Катя приехала на следующий день, к девяти, и директрису нашла в канцелярии, где стояли два шкафа: один новый, из лакированного дерева, а второй старый, ещё с сороковых, с антресолью и с отвалившейся правой дверцей, которую подвязывали скакалкой.

— Вот из этого шкафа, — сказала Нина Павловна. — Мы его разбирали под списание. Там лежала отказная переписка за девяносто пятый — двухтысячные годы, потому что такие бумаги мы держали не в делах, а в шкафу, чтобы не травмировать ребёнка, если он дорастёт до своего дела. Вот.

Она достала и положила на стол заявление. Обычный лист из тетради в линейку, сложенный вчетверо, с обтёртым, тонким, почти распустившимся сгибом, и по этому сгибу Катя поняла сразу: бумагу носили в кармане долго.

Почерк был скошенный, крупный, с сильным нажимом, и чернила были фиолетовые, как в семидесятых.

«Директору детского дома города Песчаногорска.

Заявление.

Прошу рассмотреть вопрос о передаче на воспитание мне воспитанницы Черкасовой Катерины Викторовны, 1987 года рождения.

О себе сообщаю: Черкасов Юрий Петрович, слесарь-сборщик, стаж двадцать три года, в настоящее время на пенсии по инвалидности. Проживаю в общежитии. Семья — жена, проживает отдельно.

Приложения: справка о состоянии здоровья, выписка из трудовой книжки, справка о составе семьи.

Прошу дать письменный ответ, потому что мне надо знать, что ещё требуется, и я привезу.

Пятнадцатое сентября 1999 года. Подпись».

Катя прочитала заявление дважды.

Пятнадцатое сентября. Он был здесь в те четыре дня, которые самовольно ушёл из больницы: четырнадцатого выехал, пятнадцатого писал это заявление, восемнадцатого вернулся в палату, а двадцатого принёс дежурной сестре копию справки и попросил её заверить.

На обороте листа была приписка, короткая, тем же почерком, но наспех, снизу вверх, как пишут, когда стоишь, потому что сесть не предложили:

«Девочка — в третьей группе. Прошу ей не говорить, что я был. Мать — Черкасова А. И. — мне известна».

— Что это значит? — спросила Катя.

— Это значит, что он мне назвал мать, — сказала Нина Павловна. — Больше у него ничего не было. Он мне принёс три бумаги: справку здоровья, выписку из трудовой книжки и справку о составе семьи. И всё.

Она села напротив и положила руки на стол, ладонями вниз.

— Он сидел на этом стуле, — сказала она. — Я его помню и буду помнить, потому что ко мне за двадцать девять лет приходили с такими просьбами шесть раз, и из этих шести он был единственный, кто пришёл без скандала. У него были синие руки, все в наколках от железа, и он их не прятал. Он сказал: «Я знаю, что оснований у меня нет. Скажите, что нужно, и я соберу». Я сказала ему то, что должна была сказать по правилам: установление отцовства в судебном порядке, жилая площадь не менее шести метров на человека, постоянный доход, положительная характеристика. Он всё записал в блокнот, карандашом, потому что ручка у него не писала. И спросил: «Это долго?» Я сказала: год, может год и три месяца. Он сказал: «Хорошо».

— И?

— И попросил: «Дайте мне её увидеть минут десять». Я дала десять минут в канцелярии, при воспитательнице, и она в ту минуту не узнала его, потому что ей было двенадцать лет, а он при ней был последний раз, когда ей было восемь. Она вышла и сказала: «А зачем он мне мяч привёз?» Вот и всё. Больше я его не видела.

Катя сидела и молчала, потому что говорить было нечего, и потому что ей было двадцать три года, и она очень хорошо понимала, что за год и три месяца этот человек не успел.

— Нина Павловна, почему вы мне это показали?

— Потому что вы сестра, — сказала директриса. — А сестра — это родство, а не просьба. И потому что вы пришли и не сказали мне ни одного неправдивого слова: вы мне сразу сказали, что вы сестра, а это редкость.

Она подняла заявление и подержала его в руках.

— Копию я вам дам, — сказала она. — А заявление не отдам: оно у меня в деле, а дело её. Когда она захочет, она его прочитает. Хотите знать, что ей в деле написано про отца? Ничего. Написано «Отец — по заявлению матери не записан», и всё. Всё остальное в этом шкафу лежало тридцать лет.

Катя спросила, и это был последний вопрос за весь разговор:

— Она спрашивала?

— Спрашивала, — сказала Нина Павловна. — В две тысячи пятом, в августе, когда выпускалась. Она пришла ко мне, села вот на этот стул и спросила: «Нина Павловна, ко мне тут один мужчина ездил, мяч привёз. Кто он был?» И я ей ответила то, что мне полагалось ответить: «Не знаю». И это единственный ответ, который я себе до смерти не прощу, потому что за тридцать лет я не знала, что делать, и сделала, как учили.

Она встала и пошла к шкафу, чтобы не показывать лица.

— Я ей тогда предлагала остаться работать с детьми, — сказала она от шкафа. — Она осталась в этом деле и работает с детьми до сих пор. А где — я вам не скажу, потому что это не моя тайна, а её. Вы сами найдёте, если она захочет, чтобы вы нашли.

Матвей Игнатьевич Кузьмин жил в частном доме за товарной станцией, держал четыре улья и вышел к калитке с дымарём в руке, потому что как раз в это утро вырезал из улья какую-то порчу.

— Кто такая? — спросил он. — С завода? Завод меня забыл в девяносто седьмом.

— Я про Черкасова Юрия Петровича.

— Юрка, — сказал Матвей Игнатьевич и поставил дымарь на калитку. — Ну пойдём в дом, в беседку пойдём, там у меня стол.

Беседка была сколочена из тарной доски, столик в ней — из катушки от кабеля, а на столе лежал стакан с чаем и лежала пачка папирос, которую он не открывал.

— Я в цехе с шестьдесят первого, — сказал Матвей Игнатьевич. — Мастером с семьдесят восьмого, на пенсию в девяносто пятом. Черкасов пришёл на сборку в семьдесят втором, сразу после армии. Работал ровно, без выдумок, и пил немного, и в партии был, но не выдвигался: языка не было. Обычный русский мужик, каких у меня было сто двадцать человек, и я вам про него ничего не скажу, кроме того, что он в двадцать три года женился и до сорока покоя в цехе от него не видел никто.

— Расскажите про девяносто второй год. Про лагерь.

Матвей Игнатьевич посмотрел на неё поверх стакана.

— А вы откуда знаете? — спросил он. — Про то, что он в лагерь просился, в цехе знали трое: он, я и начальник цеха, а начальник цеха уже умер.

— Я знаю из его бумаг.

— Ну, — сказал Матвей Игнатьевич, — тогда слушайте, как было. У нас была разнарядка: завод шефствовал над лагерем, от каждого цеха надо было вожатого или на кухню бабу, или шофёра, кому что выпадет. У нас в цехе никто не ездил, потому что у нас было железо и никто не хотел вожатым, да и не умел. А в девяносто втором он пришёл ко мне в кабинет и сказал: «Матвей Игнатьевич, пошлите меня». Первый раз за двадцать лет он о чём-то меня попросил, и просил он не про себя, а, стало быть, не для себя.

— И вы послали.

— Я послал, — сказал мастер. — Я его спросил: Юра, тебе-то это зачем? Он молчал. Потом говорит: «Надо». И всё. Я его послал в девяносто втором, и в девяносто третьем, и в девяносто четвёртом, и три года подряд подписывал ему разнарядку, а цех за это время три раза срывал план, и мне за это втыкали.

— Он объяснил вам почему?

— Он сказал одну вещь, — ответил Матвей Игнатьевич. — В девяносто третьем, в мае. Он пришёл подписывать разнарядку и сказал: «У меня дома про это не знают. В цехе пусть говорят, что я в командировке». И вот тут я, между нами, струсил: я должен был пойти к начальнику цеха и сказать: Матвей, у слесаря Черкасова в другом городе семья. Но мне было пятьдесят шесть лет, у меня было двое детей и ипотеки не было, а работа была, и я ничего не сказал. Я вписал ему в табель «командировка», как он просил. И три лета он у меня был в командировке в пионерском лагере.

Катя молчала. Матвей Игнатьевич допил чай и поставил стакан точно на середину круга, выжженного на катушке.

— Вы его осуждать приехали? — спросил он.

— Нет.

— И правильно, — сказал он. — Потому что осуждать тут нечего, тут всё плохо с обеих сторон, как и всегда. Жена его, между прочим, ко мне на завод один раз приезжала, году в девяносто пятом, когда он уже в больнице лежал: приходила в контору, спрашивала, за что его перевели, какие у него доплаты. Я её не видел, мне передали. Она ничего не знала и, стало быть, ничего не искала.

— А как он работал после августа девяносто четвёртого?

— Плохо, — сказал Матвей Игнатьевич. — Он в августе вернулся и ходил как по чужому цеху. Он всегда был молчун, а тут стал молчун в квадрате. Я его один раз спросил: Юра, у тебя что? Он говорит: ничего. А в декабре он упал у стенда, вот тут, на этой самой площадке, и

его увезли. Больше я его на работе не видел: он после больницы на инвалидность и в цех не вернулся, а я его и не вызывал.

Он встал, вынес из дома и поставил на стол жестяную коробку из-под леденцов, в которой лежали фотографии, все наклеенные на картон, и одна была снята на фоне цеха: двенадцать человек, все в кепках, посреди них — молодой парень с очень прямыми бровями.

— Вот, — сказал Матвей Игнатьевич. — Семьдесят девятый год, наша смена на субботнике. Вот он. Я вам эту карточку отдам, потому что мне девяносто один и разбирать её будет некому, а вам она, судя по всему, нужна.

Катя взяла снимок двумя руками.

— Матвей Игнатьевич, а он вам сказал хоть раз, зачем он туда ездил?

— В девяносто четвёртом, — сказал мастер, — в августе, когда он вернулся, он зашёл в мастерскую, сел на табурет и сидел минут десять, а потом сказал: «Матвей Игнатьевич, я там никого не спас». И я ему сказал: «Юра, ты железо спасать умеешь, а тут не железо». Больше мы про это не говорили.

В мастерской Катя вечером сдвинула на край стола лупы, растворители и банки с ватой и разложила на освободившемся месте всё, что у неё было.

Слева — групповой отпечаток тридцать на двадцать четыре, тот самый, из-за которого всё началось. Рядом — восемь снимков, вернувшихся к Хвостову из районо, в своём конверте со словом «вернули». Ниже — четыре отпечатка с полоски, которые она напечатала сама, четыре дня назад, ночью. И справа три листа её блокнота: список первого отряда из Витькиной тетради — двадцать четыре фамилии; ведомость на питание, переписанная ею из заводского архива, — тридцать четыре строки; и отчёт о работе лагеря с четырьмя подписями.

Она включила верхнюю лампу и села считать.

В кадре, по её промеру лупой, стояло тридцать человек: двадцать восемь детей и взрослые сбоку. Дети стояли в три ряда, взрослые — с краю, у крыла автобуса.

Двадцать четыре фамилии в списке. Значит, детей у неё в кадре на четыре больше, чем в списке, и это было бы нормально: список — первого отряда, а в кадре, судя по росту, старшие из третьего, а ещё двое, крайние справа, вообще мелкие, из младших, которых вожатый взял на общий снимок из жалости.

Катя выписывала в столбик и ставила против фамилий галочки.

К третьей чашке чая у неё сходилось двадцать два ребёнка из двадцати четырёх — по росту, по чёлкам, по сандалиям, по тому, кто как держит руки. Двое не сходились никак, и это тоже было нормально: за тридцать лет человек меняется так, что мать не узнаёт, а тут дети.

Дальше Катя стала на взрослых. Их в кадре было пятеро.

Черкасов — третий слева, второй ряд, руки за спиной, в рубашке с коротким рукавом, застёгнутой на все пуговицы.

Воспитательница, Ольга Дмитриевна Коновалова, — её подпись стояла на ведомости, и она была единственная женщина в кадре в белой косынке.

Глава 6. Мужчина в кепке

Физрук по кличке Птах, которого Павел Ильич назвал так, что Катя не стала искать настоящую фамилию.

Четвёртый — мужчина в кепке, стоявший у самого автобуса, в стороне от всех, спиной на четверть к объективу, и лицо его ушло в тень от борта.

Пятого она сначала посчитала за ребёнка, потому что он был маленького роста и стоял в первом ряду, но потом увидела кисть руки: взрослая, с короткими ногтями.

Человек в кепке не сходился ни с одной строкой. Катя прочитала ведомость на питание сверху донизу: тридцать четыре фамилии, из них взрослых четыре — Черкасов, Коновалова, повариха Сотникова и завхоз Тарасов В. С. Ни физрука, ни человека в кепке в ведомости не было: физрука кормили по отдельной заявке, а человек в кепке не ел в лагере вовсе.

Тогда Катя вернулась к отчёту и прочитала последнюю страницу, ту, где стояли подписи, и третья подпись была сделана размашисто, поперёк графы: «завхоз Тарасов». А рядом, в скобках, тем же человеком, была приписана одна строчка, от которой всё встало на место: «Автобус принял 11.08.94, сдал 13.08.94».

Автобус стоял в лагере с одиннадцатого по тринадцатое августа. Человек в кепке, стоящий у автобуса в стороне и спиной, был заводской завхоз, который этот автобус принял и сдал, и его фамилия была в отчёте, а в ведомости на питание его не было, потому что он в лагере не ел.

Катя посмотрела на часы: половина десятого. Она проработала с этими людьми три вечера, и вот теперь у неё в блокноте стоял весь лагерь, поименно, кроме одного человека за кадром, который держал фотоаппарат, и кроме шофёра, который сидел за рулём и потому в кадр не попал.

Она взяла лупу и вернулась к последнему, самому трудному.

Четыре кадра и групповой снимок были сняты в один день — это она видела по плёнке: одна эмульсия, одна партия, одна катушка, шестьдесят четыре кадра, из которых Хвостов потратил на лагерь пятьдесят семь, а полоска с четырьмя вернулась к ней нетронутой.

Но день в них был разный.

На групповом снимке тени от шеренги уходили вправо и коротко, значит, прошло не больше часа после полудня: это был день отъезда, часа в два. А на четвёртом кадре той же полоски тени от автобуса лежали под самыми колёсами, короткие и крутые, и свет был жёсткий, отвесный: это было около половины первого, то есть раньше шеренги.

Стало быть, девочку сняли в половине первого, у борта, с чемоданом на руках, а шеренгу — в два, когда её в лагере уже не было.

Почему девочки нет на групповом снимке — Катя к тому времени уже понимала, и понимала не по лицам, а по технике: человека не оставляют в бумагах по двум причинам — либо потому, что он не из отряда, либо потому, что не хотят оставить его лицо в бумагах. Второе она видела по обрезанному снимку, который Хвостов отправил в районо и который оттуда вернулся.

Она достала карандаш ТМ и стала подписывать отпечаток, как подписывают архивные карточки: тонко, по низу, без нажима, чтобы можно было стереть.

Первый ряд, слева направо. Второй ряд.

Она писала фамилии, и от этого снимок становился не чище, а плотнее: тридцать человек, стоявших в августе девяносто четвёртого на площадке, теперь были людьми с фамилиями, и часть из них её уже узнала, потому что фамилии пришли из списка, а список — из тетради человека, который их снимал.

К половине двенадцатого у неё было подписано тридцать имён, и одного человека среди этих тридцати не было.

Он снял шеренгу — и ни один человек в этой шеренге не знал, что в ту же минуту у борта автобуса, у самого крыла, в тени, стоит девочка с маленьким красным чемоданом, которую через час увезут на поезде. Она не стояла в шеренге не потому, что не хватило места, а потому, что решать, ставить ли её в кадр, было некому: у неё в лагере не было ни одного человека, расписавшегося за неё на бумаге.

Катя нашла это место на отпечатке: правый край, за спинами, там, куда падала тень от автобуса. Пусто.

Она положила карандаш, накрыла стол простыней, как накрывала всегда, выключила лампу и ушла домой, так ничего на этом месте и не написав, потому что подпись — это не имя. Подпись — это решение, а решения она пока принять не могла.

В городском родильном доме архив был устроен просто: в подвале стояли стеллажи, на стеллажах — книги в коленкоровых переплётах, по одной на год, и в каждой книге было вшито по двести-триста листов бланка, заполненных неровными почерками врачей и акушерок.

Хранительница архива, Зинаида Львовна, шестьдесят лет, работала здесь тридцать два года и книг этих не любила.

— Их бы сдать в область, — сказала она. — У нас была комиссия, нам сказали: ведите картотеку, а книги — не документ. А я их не отдам, потому что в картотеке человек — это карточка, а в книге человек — это человек, с весом, с обменкой и с пометками на полях.

Катя попросила две книги: восемьдесят седьмой и девяносто четвёртый год.

— Обе сразу? — спросила Зинаида Львовна. — Вы по какому году-то?

— По двум, — сказала Катя. — По двенадцатому января восемьдесят седьмого и по двенадцатому августа девяносто четвёртого.

Зинаида Львовна посмотрела на неё, но ничего не сказала, и это было лучше всякого разговора: женщина, которая тридцать два года выдаёт книги, знает, что человек, называющий две даты через семь лет, ищет не справку.

Катя открыла первую книгу.

Двенадцатое января восемьдесят седьмого года. Двадцать записей. Восьмая сверху, чернилами, почерком аккуратным и очень ровным:

«Черкасова Анна Ивановна, 16 лет. Родилась г. Песчаногорск. Проживает: ул. Первомайская, 34, кв. 2. Поступила 12.01, 03.40. Роды первые, срочные. Ребёнок: девочка, 2900, 49 см. Закричала сразу».

И на полях, тем же ровным почерком, чуть выше, пометка, которую делали тогда редко и которая, судя по датам, спасла этой девочке несколько лет жизни: «Мать несовершеннолетняя. Проживает с матерью. Социальный работник вызван».

Катя смотрела на эту строчку долго.

Шестнадцать лет. Девочка, которая через семь лет поедет в лагерь с маленьким красным чемоданом, родилась у девочки, которой было шестнадцать, и её бабушка в тот же день пришла в родильное отделение и забрала их обеих домой, и в квартире на Первомайской каждая из них была ребёнком.

Катя перевернула страницу и прочитала дальше: выписка, дата, подпись. Всё было правильно. Всё было ужасно.

Вторую книгу она взяла уже с холодными руками.

Двенадцатое августа девяносто четвёртого года. Одиннадцать записей. И шестая, опять чернилами, но другим почерком, торопливым, с нажимом:

«Черкасова Галина Петровна, 21 год. Поступила 12.08, 04.20, доставлена машиной скорой помощи. Продолжительность беременности со слов роженицы. Обменной карты не имеет,

на учёте в консультации по месту жительства не состояла. Роды первые, срочные, 06.40. Ребёнок: девочка, 3200, 51 см.».

Машина скорой помощи. Катя перечитала это четыре раза, потому что в этой строке не было ничего, кроме факта, и факт этот был огромного размера: в четыре двадцать утра двенадцатого августа девяносто четвёртого года её мать привезли в родильный дом в Песчаногорске на машине скорой помощи, беременную, нигде не наблюдающуюся, без обменной карты, в город, где у неё не было ни одного человека, кроме мужа, жившего в общежитии.

Её привезли туда рожать. Её туда привезли, чтобы она родила именно там.

Ниже, где стояла выписка, было оставлено место для записи о ребёнке, и в этом месте рукой дежурной акушерки было написано коротко, без всяких объяснений: «Выписаны 12.08, 12.30, с ребёнком, по личному заявлению. Подпись роженицы — есть».

Катя закрыла книгу, и книга легла на стол так же ровно, как легла бы в руках человека, у которого нет причин держать её крепче.

— Нашли? — спросила Зинаида Львовна из-за стеллажа.

— Нашла.

— А что искали?

— Себя, — сказала Катя, и это был первый раз, когда она сказала это вслух, и сказала не человеку, а женщине, которая тридцать два года выдавала людям их рождение, потому что это была самая безопасная в городе женщина.

Зинаида Львовна вышла из-за стеллажа, вытерла руки о халат и села напротив неё на табурет.

— Я вам вот что скажу, — сказала она. — У нас не выписываются в день родов. За тридцать два года я такое видела дважды, и оба раза не потому, что женщина торопилась домой. Один раз женщина ушла через восемь часов, потому что её муж должен был приехать из армии и не должен был узнать. А другой раз — потому что в городе у неё никого не было и надо было ехать.

— А второй раз не в девяносто четвёртом?

— Второй раз в девяносто восьмом, — сказала Зинаида Львовна. — Да вы не смотрите так. Я не помню лиц, я помню графы. Мне шестьдесят лет, я помню графы.

Катя встала, попросила сделать выписку из обеих книг — «по родству, я дочь», — и Зинаида Львовна выписала ей два листочка с печатью и угловым штампом, аккуратно, от руки, и, подавая, сказала:

— Вы их не потеряйте. Их в области не повторят: книги старые, их в картотеку не переносят.

Катя положила оба листочка в папку, к свидетельству о рождении, к копии акта из интерната, к копии заявления в районо и к конверту со словом «вернули», и папка стала толстой.

— Комната Витьки — она за кухней, — сказала Вера Петровна и сняла с гвоздя ключ, который висел там, где висят ключи от мест, куда ходят раз в год. — Идёмте, только вы не пугайтесь: там не убрано с его смерти.

За кухней была пристройка, в полтора метра шириной, с одним окном, завешенным чёрной бумагой, и дверь в неё открывалась наружу, потому что иначе в ней было не развернуться.

Катя вошла и поняла, что даже дышать в этой комнате надо по порядку.

Пахло фиксажем, немножко — уксусом, немножко — пылью, и весь этот запах держался в стене: так держится в стенах запах булочной, мастерской и больницы, потому что человек тут работал двадцать лет, каждый вечер по три часа.

Прямо перед дверью стоял на табурете увеличитель, серый, с облезлой ручкой и с лупой в пыли. За ним, в углу, висел на подвижной штанге фонарь с красным стеклом, и стекло было не покупное, а вырезанное из бутылки, обточенное и вставленное в жестяную оправу. Под

табуретом стояли три белые эмалированные кюветы. Над ними, на гвоздях, висели прищепки и две бумажные ленты с кадрами, совсем белые.

— Красный фонарь он сам сделал, — сказала Вера Петровна от двери. — У него до этого был покупной, но разбился, а покупной тогда был дефицит. Он говорил: в тёмной комнате можно работать при любом свете, если свет красный и если ты честно закрыл дверь.

Катя огляделась.

На стене, слева от увеличителя, висели шесть фотографий, приколотых кнопками, и все шесть были одного размера и одного города: витрина гастронома с выложенными пирамидкой банками, новый мост через протоку, школа в две смены, рабочий у станка, ветка с инеем, и детская коляска, стоящая у подъезда, пустая.

— Это его курс городского хозяйства, — сказала Вера Петровна. — Он в восьмидесятом ходил на фотокружок, ему сказали: снимай город, и он снимал город двадцать лет. Людей он снимал по заказу: свадьбы, похороны, выпускные, ветеранские. Свадьбы он не любил, а похороны умел.

— А последний снимок?

— На нитке посмотрите.

Катя повернулась к прищепкам. На верхней висела одна фотография, совсем выцветшая, потому что висела на свету десять лет, и на ней была витрина: «9 Мая», бумажные цветы, портрет в рамке и ваза с гвоздиками, снятая вечером, в дождь, при свете фонаря.

— Он её не снял, — сказала Вера Петровна. — Он её оставил на нитке и не снял, потому что она ему не понравилась, а выбросить он не мог. Вот так он всё и жил: не нравится, а не выброшу.

Катя села на табурет — не на тот, на котором стоял увеличитель, а на второй, тот, что держал у окна.

— Вера Петровна, а про женщину. Про Аню Черкасову. Он вам что-нибудь говорил?

Вера Петровна помолчала в дверях и вошла в комнату, и стоя в ней была совсем маленькой, потому что комната была в полтора метра.

— Один раз, — сказала она. — Он пришёл в восемьдесят девятом с лагеря, сел за стол и сказал: «Приезжала Анька Черкасова, из Песчаногорска, привозила девочку». И я его спросила: чья девочка? И он мне ответил: «Не спрашивай». И ушёл в эту комнату и просидел тут до утра.

— Больше он её не называл?

— Больше он её не называл, — сказала Вера Петровна. — И знаете что? Я двадцать лет думала, что я ревную. Я думала: в лагерь к нему ездит женщина, значит, у него там что-то. И только когда вы с этой коробкой пришли, я поняла, что я не ревновала, а не понимала. Потому что человек, который молчит сорок лет, — это человек, у которого там горе, а не баба. Баба — это когда говорят.

Она взяла с гвоздя вторую ленту с кадрами, ту самую, которую Катя уже держала в руках неделю назад, но теперь Катя смотрела на неё в этой комнате, при красном фонаре, и от этого кадры выглядели чужими.

— Я вам вот что скажу, — сказала Вера Петровна. — Вы эту ленту забирайте. Я её двадцать лет держала в буфете, потому что буфет от него, а она в буфете лежала, и я думала: вот придут и заберут. Тридцать лет никто не приходил, кроме тех двоих, а те приходили не за этим.

— А что заберут?

— Да мало ли, — сказала Вера Петровна и пошла к двери. — Человека, который это снимал, уже нет, а те, кто на этих четырёх кадрах, все живые, кроме одной. Так что заберёт её тот, у кого она живая в бумагах.

Катя стояла в комнате одна и смотрела на фонарь, который до сих пор висел на штанге, и на стекло, обточенное из бутылки, и на пыль, которая лежала на лупе ровным кругом, и думала

о том, что эта комната — единственное место в этой истории, где никто никого не выдавал и никто никуда не вывозил: человек в ней двадцать лет стоял в темноте и делал так, чтобы люди и дома, и мосты, и витрины, и коляски у подъезда остались хоть где-нибудь, хотя бы на куске глянцевой бумаги.

Сергей Крайнов пришёл в мастерскую в марте, в обед, и Катя не сразу его узнала: без пешни, в куртке вместо бушлата и с сеткой-авоськой, в которой лежал мяч.

— Здравствуйте, — сказал он. — Я вам тогда сказал, что не отдам. Я принёс.

Он поставил сетку на стол и сел на стул у двери, как садятся люди, которые не собираются задерживаться.

Мяч был кожаный, из шести долей, с шнуровкой, и он был маленький: такой мяч человек держит в одной руке и не жалеет об него ладонь. Кожа потемнела и в двух местах была прошита дратвой, а шнуровка чёрная, засаленная, с обломанным кончиком.

— Ему тридцать лет, — сказал Сергей Крайнов. — Он не сдулся. Я его подкачивал два раза в год, я его к насосу носил, как больного.

Катя взяла мяч и повернула его к окну.

На одной из долей, ближе к шнуровке, было процарапано гвоздём, криво и глубоко, потому что процарапывала рука ребёнка: буква «К». Внизу, у самого стыка, виднелся выцветший чернильный штамп: «Спорттовары No 3. Песчаногорск. 3 р. 50 к.»

Песчаногорск. Значит, мать купила мяч в том самом городе, куда привезла дочку, и купила его, судя по штампу, в первый же день.

— Она в тот вечер отдала его мне в столовой, — сказал Сергей Крайнов. — Положила мне в руки и сказала: «Держи, я вернусь». Я его взял, потому что мне было восемь лет и потому что мне ничего никогда не давали. Я его двадцать пять лет держал в сундуке, потому что если я его отдам, значит, она не вернулась. А я и так знаю, что не вернулась.

Катя положила мяч на стол, рядом с конвертом, на котором было написано «вернули», и с папкой, в которой лежали свидетельство о рождении, две выписки из роддомовских книг, копия акта из интерната и копия заявления в районо.

— Почему вы его принесли?

— Потому что я вас тогда обманул, — сказал он. — Я вам сказал: не отдам, потому что я её не отдам чужому. А вы не чужая. Я в тот день, когда вы уехали, пошёл к парому и спросил, кто вы. Мне сказали: приезжая, работает с фотографиями. Я потом всю зиму думал: а если она ищет не для себя? Тогда я держу чужое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.